



А. Грин

АЛЫЕ ПАРУСА

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ





Библиотека юношества

Александр Грин

АЛЫЕ ПАРУСА

Феерия

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

Роман

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1980

Р2
Г85

Печатается по изданию: А. Грин. Избранное.
М., Изд-ао «Правда», 1957.

Г $\frac{70803-088}{М158(03)-80}$



Алые паруса

Феерия

Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает
Автор
22 ноября 1922 г. Ленинград

I Предсказание

Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда,— еще издали, на пороге дома,— свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик,— сказала она,— посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умиленным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир-лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная, Мери сказала, что идет в

город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного,— сказала она соседке.— Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза,— сказала она,— и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморозь сразили ее двусторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. «К тому же,— прибавила она,— без такого несмышленыша скучно».

Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда виде-

ли в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да» — «нет» — «здравствуйте» — «прощай» — «помаленьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого; таким образом, меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия. В передаче детским голосом, и не везде с буквой «р», эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола,

подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном, свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность,— так силен был его ровный пробег,— давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь, даже всей длиной тела, Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостке под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрен! — закричал смертельно перепуганный Меннерс.— Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал! — Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.— Лонгрен! — взывал Меннерс.— Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси! — Но

Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями; но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки.— Лонгрен,— донеслось к нему глухо, как с крыши сидящему внутри дома,— спаси! — Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, видела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая,— сказал он,— до утра еще далеко.

— Что ты делаешь?

— Черную игрушку я сделал, Ассоль,— спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери,— им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен *молчал. Молча*, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу,

Лонгрен *стоял*,— стоял неподвижно, строго и тихо, как *судья*, высказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражал жестами, или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они,— поступил *внушительно непонятно* и этим поставил себя выше других, словом — сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Также, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых, приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями *общественного мнения*; она перестала наконец оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль,— гово-

рил Лонгрен,— разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут».— «Как это — *уметь?*» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть с трубкой в зубах, забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще,— диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и тому подобное, а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и *тигровая кошка*, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем, приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще»,— просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы,— говорил Лонгрен,— да я неделю сидел

над этим ботом.— Вот был пятивершковый.— Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Вот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, и приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения,— Лонгрен отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее; Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного,— размышляла Ассоль,— она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде; свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на бе-

лых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан?» — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — «Я приехал... приехал... приехал я из Китая». — «А что ты привез?» — «Что привез, о том не скажу». — «Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался теперь девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща нетяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же...» Она старалась не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от

усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды, из пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось, было вяло прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне,— несмело сказала девочка.— Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту,— так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном,— сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту,— это

что-то особенное! Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки.— Он стукнул тростью.— Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль,— сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо,— продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа.— Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки,— сказала Ассоль, встряхивая корзиной,— потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала. Ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама.— Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась; ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смеше-

нием сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.

— Тебе нечего бояться меня,— серьезно сказал он.— Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе.

Тут только он уяснил себе, что́ в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы,— решил он.— Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет».

— Ну-ка,— продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты),— ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет, только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца, он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль! — скажет он.— Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь

там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка.

Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе.

— Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро,— возразил Эгль,— сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? Это *будет*, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением.— Я бы его любила,— поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила: — Если он не дерется.

— Нет, не будет драться,— сказал волшебник, таинственно подмигнув,— не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я, меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот...— сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца.— Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая: «Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я

на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно».

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придет,— спокойно ответил матрос,— раз тебе это сказали, значит, все верно.

«Вырастет, забудет,— подумал он,— а пока... не стоит отнимать у тебя *такую* игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов; издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя,— полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку,— сказал он сквозь прутья.— Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.

— Я бы дал,— вполголоса ответил Лонгрен,— но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну,— возразил Лонгрен,— ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!

— Слушай-ка,— шепнул Лонгрен,— я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой — для себя, разумеется,— сидели рослые женщины с густыми бровями и руками, круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— ...И не дал мне табаку. «Тебе, говорит, исполнится совершеннолетний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, говорит, волшебнику верь». Но я говорю: «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин.

Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.

II Грэй

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грей, был мрачен

внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно,— сказал Грэй.— Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожи, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился, как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками; везде — плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во времена Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

— Ну, вот что,— говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком,— видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвав ее «Рай», и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что

ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца,— так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех, скажи правду — останешься жив», но и то по зрелом размышлении...

— Кажется, опять каплет из крана,— перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом.— Да. Хорошо рассудив, а главное не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях».— «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!» — Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренне спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в тысяча семьсот девяносто третьем году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Это вино никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его,— сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок.— Ты выпьешь его в раю?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная,

но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак.— Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там, на длинном столе, лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там — свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих благодаря долгому навыку приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

— Очень ли тебе больно? — спросил он.

— Попробуй, так узнаешь,— ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

— Мне кажется, что тебе *очень* больно,— сказал он, умалчивая о своем опыте.— Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!

Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все,— что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души; поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, докторами и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувство-

вала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, ее сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения; таинственные оттенки света, среди убожества, творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения,— эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге; их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми; если он просил простить или наградить кого-либо — заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил — не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря *низкому* обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в *своем* мире. Он играл один — обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными

погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно-пестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и, тем получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части *своего* сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол — во множестве садов *иных* и вдруг увидел их ясно, все — в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкафов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину; между шкафов были проходы, заваленные грудами книг. Там — раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там — свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали; здесь — чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкафы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкафных стекол виднелись другие шкафы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Вы-

соко поднявшийся бушприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бушприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке, спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего, собственно, не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, не видимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела — взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал — но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный, невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся; мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают

фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел — скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами,

обвитыми шелковистым локоном, в замшевой ладанке на твердой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубель вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества — на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть, для настоящего и будущего,— проиграл в карты. Он хотел быть *«дьявольским»* моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купанье с замирающим сердцем прыгал в воду, головой вниз, с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного — своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю, за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и салинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: «Отправляйтесь, куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома — одеколоном «Роза-мимоза». Этот, выдуманный Гопом, одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да. Ступайте к «Розе-мимозе».

Между тем внушительный диалог приходил на **ум**

капитану все реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнехта канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань до тех пор, пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал:

— Слушай внимательно. Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.

И он стал читать, вернее, говорить и кричать по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты *видела, как я*: посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, *как я — все*, в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека,— улыбку». И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как

бы не далее как вчера, встречали *этого* Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием; ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных» — слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: «и мальчику моему...» Тогда он сказал: «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела; в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах — вот все. Но в эту минуту она жила — сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя; о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя — во всем, что он утверждал как истину своей жизни,— видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.

Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля, Артур Грэй плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэя «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка. Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак; смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок, наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно,

чрез умопомрачительность миль, проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром, по чуткой воде, влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

— Передай Летике,— сказал Грэй,— что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять Летику; проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

— Куда прикажете плыть, капитан? — спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла; все остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю...» — но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как

присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

— Здесь будем ловить рыбу,— сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределенно хмыкнул. «Первый раз плаваю с таким капитаном,— пробормотал он.— Капитан дельный, но *непохожий*. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его».

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

— Ну-ка,— сказал он, протягивая бутылку,— выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

— Простите, капитан,— ответил матрос, переводя дух.— Разрешите закусить этим...— Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал:

— Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

— Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

— А вы?

— Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды.

— Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист.— Затем он пощекотал пальцем в коробке червей.— Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался — и его сомы съедят.— Наконец, он ушел с пением: — Ночь тиха, прекрасна водка, трепе-

щите, осетры, хлопнись в обморок, селедка,— удит Летика с горы!

Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли: в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей: от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» — не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затек. Бледно светились звезды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже *во сне*. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами, висели листья орешника. Внизу обрыва — с впечатлением, что под самой спиной Грэя,— шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летики не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчис-

ленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой Фавна с картины Арнольда Беклина.

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им *только* глазами, но тут он *иначе* увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу; он был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спали темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» — но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник.

Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с

таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.

— А, это ты, Летика! — сказал Грэй.— Посмотри-ка на нее. Что, хороша?

— Дивное художественное полотно! — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения.— В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.

— Тише, Летика. Уберемся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

— Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

— Должно быть, вон та черная крыша,— сообразил Летика,— а, впрочем, может, и не она.

— Что же в этой крыше приметного?

— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположились три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом, помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым, скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе *настоящего* капитана — разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком

кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.

В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

— Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей,— спокойно заговорил Грэй.— Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?

Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал — единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.

— Гм! — сказал он, поднимая глаза в потолок.— Это, должно быть, Корабельная Ассоль, больше быть некому. Она полоумная.

— В самом деле? — равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток.— Как же это случилось?

— Когда так, извольте послушать.

И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история, с тех пор как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой.

— С тех пор так ее и зовут,— сказал Меннерс,— зовут ее Ассоль Корабельная.

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар — одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся *клинически*. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они слу-

чайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

— Еще могу сообщить вам, что ее отец — сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...

Его перебил неожиданный, дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением, и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!

— Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! — закричал Меннерс.— Уходи вон!

...Но только бойся попадать
В наши палестины!.. —

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.

— Дрянь, а не человек,— сказал он с жутким достоинством скопидома.— Каждый раз такая история!

— Более вы ничего не можете рассказать? — спросил Грэй.

— Я-то? Я же вам говорю, что отец — мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание...

— Ты врешь! — неожиданно сказал угольщик.— Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел.

Хин не успел раскрыть рта, как угольщик обратился к Грэю:

— Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься — как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось

дело о ее ремесле. «Я тебе что скажу,— говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню,— моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я,— говорит,— так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я это захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: «Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке».— «Нет,— говорит она,— я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает *большую* рыбу, какой никто не ловил».— «Ну, а я?» — «А ты? — смеется она,— ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!

Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

— Прикажете подать что-нибудь?

— Нет,— сказал Грэй, доставая деньги,— мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?

— Добрейший капитан,— сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом,— не понять *этого* может только глухой.

— Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобное искре в пороховой ступке Бертольда,— одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку, ладонью вверх, знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, Ассоль, в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки, вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить, и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого встала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. «Вот сколько вы забрали с декабря,— сказал торговец,— а вот посмотрим, на сколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков. «Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, и эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский базар» и «Аладинову лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением:

— Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин; там куча народу. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала — я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом

снова завернул, как было, в платок, и отдал обратно.

Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе, у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была еще в «Аладиновой лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать; поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал:

— Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить — на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы,— задумчиво продолжал он, думая об игрушках.— Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

— Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

— Нет! — Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу.— Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться — значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала:

— Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю.

Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.

— Ты милая,— просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой пе-

чали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкафу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно; обертки с чаем и кофе почти пусты; нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз — был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но, тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.

За ореховой рамой, в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль был совершенно оригинален — оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное не подвластно словам, кроме слова «очарование».

Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьет, посмотрим на нее ближе — вовнутрь. В ней *две* девушки, *две* Ассоль, перемешанных в замечательной, прекрасной неправильности. Одна была — дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая — живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл *иного* порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейное, но впечатлением — определенно человеческое, и — так же, как человеческое,— различ-

ное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще *сверх* видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения, она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда — и это продолжалось ряд дней — она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно *так* уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила; улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности, теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: она — «тронутая», «не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих — лишь *на другом языке*. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения — обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви,— здесь немыслимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действия его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: «Здравствуй, бог!» — а вечером: «Прощай, бог!»

По ее мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной; тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно как бы лишь ждал этой подачки; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг: «Ш-ш-ш-ш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверкание синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким огля-

дывают новое помещение. Проник рассвет — не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, четкая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукой под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит, как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем,— тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но

вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки — позы, усилия, движения, черты и взгляды: ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук»,— отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй, больной»,— сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. «Необходимо посидеть дома»,— это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. «Стряхни толстого пассажира»,— посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые — она знала это — говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня! Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее, чем могли: листьями — и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая, непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета.

Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого,— глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и наконец просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к гла-

зам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом,— *своим* не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. «Чья эта штука? Чья штука? — стремительно вскричала она.— Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла». Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца, держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности,— затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так — *случайно*, как говорят люди, умеющие читать и писать,— Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

V Боевые приготовления

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность — облачное движение чувств — отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

— Вы, быть может, ушиблись? — осторожно спросил он.— Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..

— Благодарю,— сказал Грэй, вздохнув, как развязанный.— Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в

устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

— Что же случилось?

— Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.

— Хорошо,— бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя.— Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение — мысль, действие — грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный, розовый и розовый темный; густые закипи виш-

невых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «великолепно» — «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

— Довольно образцов,— сказал Грэй, вставая,— этот шелк я беру.

— Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее.— В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

— Две тысячи метров.— Он с сомнением осмотрел полки.— Да, не более двух тысяч метров.

— Две? — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный.— Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи... две тысячи по...— Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться.— Удивительный, наилучший шелк,— продолжал лавочник,— товар вне сравнения, только у меня найдете такой.

Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй до-

говорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу, от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струи лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

— Ба, да это ты, Циммер! — сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку».— Как же ты изменил скрипке?

— Досточтимый капитан,— самодовольно возразил Циммер,— я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я, из поздней жадности, люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, а? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка...

— Ассоль,— сказал Грэй.

Циммер не расслышал.

— Да,— кивнул он,— *соло* на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства — я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

— А что скрывается в моем «тур-люр-лю»? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими

голубыми глазами и белокурой бородой.— Ну-ка, скажи?

— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда — птица, иногда — спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.

— Да,— сказал Дусс,— я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.

— Вот что,— сказал, смеясь, Грэй,— у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или — что еще хуже — в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами,— нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев, соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву *А*. Если вам нравится мое предложение, приезжайте повечеру на «Секрет»; он стоит неподалеку от головной дамбы.

— Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грэй платит как царь.— Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

— Да,— просто сказал Грэй.— Все подробности я вам сообщу на «Серкете». Вы же...

— За букву *А*! — Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю.— Но... как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту...

Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму — выполнить срочно, в течение шести дней. В то время как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантеном.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок — иногда месячных — в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказы-

ваясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; не удивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступил вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.

— Все готово,— мрачно сказал Пантен.— Если хотите, можно поднимать якорь.

— Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше,— мягко заметил Грэй.— Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

— Это, конечно, так,— сказал он.— Впрочем, я — ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился: то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию.

Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

— «Лети-ка, Летика»,— сказал я себе,— быстро заговорил он,— когда я с кабельного мола увидел, как тан-

цуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

— Летика,— сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам,— я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.

— Говори.

— Не стоит говорить, капитан. Вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

— Куда?

— Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел с странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика:

«Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза; за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как мемориий заканчивался несколько неожиданно словами: «В счет расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.

— Мы отшвартовались у дамбы,— сказал он,— Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят, на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.

— Да, Атвуд,— сказал Грэй,— я, точно, звал музыкантов. Подите скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть ча-

са. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.

Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел.

Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.

— Ничего особенного,— сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика.— Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, по куда — не скажу. Во всяком случае недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

— Да,— сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить.— Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

— Благодарю!

Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел — нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел — его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен; вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

— Как это вам пришло в голову, капитан?

— Как удар твоего топора,— сказал Грэй.— Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул из толпы семь человек, одетых крайне неряшливо.

— Вот,— сказал Циммер,— это — тромбон; не играет а палит как из пушки. Эти два безусых молодца — фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно разочарованный вид, но *этот* бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?

— Изумительно,— сказал Грэй.— Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь! Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его наконец до того, что он стал считать мысленно: «Один... два... тридцать...» и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало; он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба, лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.

— Знаете,— сказал Пантен Грэю,— я доволен.

— Чем?

— Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике.— Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.

— Ну-ка,— сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело,— что вы там поняли?

— Лучший способ провезти контрабанду,— шепнул Пантен.— Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

— Бедный Пантен! — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться.— Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

VI Ассоль остается одна

Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг; и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он, на повороте, вдруг *сразу* увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо — то истинное лицо человека,

о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил:

— Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать — что именно; она сказала:

— Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

— Что бы я ни надумал,— сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени,— ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

— Да,— издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться.— Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей.— Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой.— Да, поскорей, милый; я жду.

— Ассоль! — сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе.— Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.

— Ты странный,— сказала она.— Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов:

— Я вернусь дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: Лонгрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок на плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ пред-

стояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже *чужая* этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти — не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой; в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей наконец пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

— Здравствуй, Филипп,— сказала она,— что ты здесь делаешь?

— Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

— Знаешь, Филипп,— заговорила она,— я тебя очень люблю и потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

— Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

— Не знаю.— Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега,— зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: — Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай — прощай. Ты часто меня возил.

Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

— Чудеса,— сказал угольщик,— поди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

— Верно,— поддержал второй,— не то она говорит, не то — уговаривает. Не наше дело.

— Не наше дело,— сказал и третий, вздохнув.

Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

VII Алый «Секрет»

Был белый утренний час, в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, пол-

ной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса, наконец тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов — цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу: он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он попрежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

— Теперь,— сказал Грэй,— когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настраивать вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте — я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы — образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном — несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, *не должна иначе* выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

— Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии.

Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы *сам* выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет,— тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем. Что до меня, то наше начало — мое и Ассоль — останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

— Да, капитан.— Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком.— Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку — свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя — ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера. Крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «лечь в дрейф».

— Братцы,— сказал Грэй матросам,— нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось,

между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое — под знаком любви, о которой говорили везде — от салона до машинного трюма; а часовой минного отделения спросил проходящего матроса:

— Том, как ты женился?

— Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно,— сказал Том и гордо закрутил ус.

Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка... дурак!..» — и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила, с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не

совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь...» В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уже которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи,— она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!»

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мело-

дия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка,— все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй.— Вот я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачивание шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета» — все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки, и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? — сказала она.

— Да.— И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках

и разных наречиях, по всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

— Ну, вот...— сказал он, кончив пить, затем бросил стакан.— Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.

— Как понравилось оно тебе? — спросил Грэй Летику.

— Капитан! — сказал, подыскивая слова, матрос,— не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

— Что?!

— Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой, да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье..

1920—1921 гг.

Бегущая по волнам

Роман



Это Дезирада...
О Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами.

Л. Шадурн

Глава I

Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют,— остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти *Несбывшегося*. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком,— место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница,— помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и — может быть — потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и, хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял,— единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того,— внезапное отчетливое создание: рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями, странного далекого транспаранта,— но все это развивалось в пичто; рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению с случайными лесными видениями,

как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом, я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней» — «Лондон» — «Амстердам» — «Тулон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Тулон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает... —

говорит Монс,—

После долготерпения дня
Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса — гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях певинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание суголоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей нетороплпвости, верности себе до последней мелочи, спокойствие — принимая во внимание обстоятельства — почти развратное, так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению или иной причине она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома

к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья; так как было действительно жарко — она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили по воздуху, ожидая момента схватить и помчать, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену, не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая

батистовая шляпа, такая же блуза с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса,— такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к клубку.

Не скрою,— я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей,— печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду,— явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил,— жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой, банальная осторожность? бесцельное самолюбие? даже — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон — я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминал прежние какофонии. Что, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в январе. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полу-

сон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толпе чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делам такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы самые безучастные звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас по желанию нашему — отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то неспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать *Анну Макферсон*, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Сениэль».

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание:

— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь,— наверное, в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной,— а я опустился в кресло, внутренне застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и

уселся в порыве глубокого восхищения — несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была по существу огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты,— были везде, вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она — вот-вот — начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал *всему*: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным, одиноким весельем,— пока вы еще не скрылись,— вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее».

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой,— как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр; но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

Глава IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак,— это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены; сквозь них блестели вчерашняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще бо́льшую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. Повидимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует, как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо; Лерх извещал, что, лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода,

громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов,— отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлия Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно, через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

— Ну,— сказал мне Стерс, сдавая карты,— вы покупаете? Ничего?! Хорошо.— Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь,— сказал доктор,— а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное карре: четыре десятки и шестерки; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся,— так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым

и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал что̀.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

— Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая, согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю,— ответил наконец Стерс.— Что у вас?

Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «...Бегущая по волнам». Это было, как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца, да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Изумленный явлением, которое так очевидно не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон.— Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было,— выключило меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь,— ответил я, желая узнать, что скажут другие.— Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках карре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незна-

комый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы услышали?

— «Бегущая по волнам»,— повторил я с недоумением.— Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлия, сделав несколько обычных замечаний иронически-серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

— Попробуем установить,— сказал Стерс,— не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации. Так, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?

Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду; он сказал, что никого не видел и ничего не слыхал. То же сказал Филатр, и, так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.

— В самом деле,— сказал Филатр,— фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец. Что было сказано перед тем, как вы услышали голос?

— Что? Стерс спрашивал, что́ у меня на картах, приглашая открыть.

— Так.— Филатр подумал немного.— Заметьте, как это выходит: «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам».

— Но вопрос относился ко мне,— сказал я.

— Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его.

— Это не объяснение,— возразил Андерсон после того, как все улыбнулись.

— Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих, как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и, как ответ ни загадочен,— если допустить, что это — ответ,— скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами,— оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса: «Что у вас» — могли вызвать разряд из области *тени* раньше, чем соответственно блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, ни сведены, обратным путем, к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы.

Действительно, так могло быть, но, несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатр, я был страшно задет. Я сказал:

— Почему именно слова Стерса вызвали трещину?

— Так чьи же?

Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами четырех футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.

— Конечно,— подтвердил Стерс.— Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно,— следовательно, недостоверно и остальное.

Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дэлию, которая потребовала наконец переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел; со мной вышел Филатр.

Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно.

Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаясь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть — именно с ним — в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино.

Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел.

«Бегущая по волнам»... Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл,— смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около ста пятидесяти тонн. Оно было погружено в сон. Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислонясь к борту.

Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа; вблизи меня — плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно-джентльмен. Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, в дали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя, меж двумя канатами и водой внизу, навесный угол.

Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в *свою* каюту, и я был — так мне представилось — с *той* девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление.

Я отметил уже, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным, живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменились. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв:

«Бегущая по волнам»

Глава V

Я вздрогнул,— так стукнула в виски кровь. Вздох — не одного изумления,— большого, сложнейшего чувства — задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительности по возникшим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был закружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кру-

жится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги.

Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводят рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутой отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии шести-семи футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом. Слово «Бегущая» лежало в тени, «по» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте.

Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развертывались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все — одной, главной мыслью; ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности.

Встав, я подошел к трапу и громко сказал:

— Эй, на корабле!

Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа.

Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе.

Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковое белое кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения,— все эти вещи были не свойственны простой службе матроса. Кроме того — смуглые, чистые руки, без шершавости и мозолей, и упрямое, дергающееся во сне худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств, прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки,

так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным.

Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя сон, прошлась по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие — ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как бы рассматривая их перед собой.— Как вы попали на палубу?

— Я взошел по трапу,— ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны, так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте.— Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз.

— Зачем?

— Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу,— прибавил я с ударением,— мне следует назвать себя: Томас Гарвей.

Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств — помесь флегмы и бешенства. Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

— Очень хорошо. Я — капитан Вильям Гез. Какому обстоятельству обязан я таким *ранним* визитом?

Но и более неприветливый тон не мог бы обескуражить меня теперь. Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме его еще не установленного значения.

— Капитан Гез,— сказал я с улыбкой,— если считать третий час ночи началом дня,— я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен,— и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на

парусном судне, несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае — прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить, сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли,— я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас.

Пока я говорил это, Гез уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды.

— Я почти уверен, что откажу вам,— сказал Гез,— тем более что это судно не принадлежит мне. Его владелец — Браун, компания «Арматор и Груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить.

Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух.

Я спустился в ярко озаренное помещение, где, кроме нас двух, никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречащего моему настроению, но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля. Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Геза.

Его внешность можно было изучать долго и остаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значения профиля. Между тем профиль замечателен потому, что он есть основа силуэта — одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне второго человека в одном,— как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас, со всеми про-

межуточными сечениями, уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключениям лицо Геза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом,— почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой,— к тяжелому, круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно высказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо,— широкое, насупленное, с нервной игрой складок широкого лба,— нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Геза — настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно.

— Итак,— сказал Гез, когда мы уселись,— я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект. Возможно, что «Бегущая» простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желания продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на палубе раздались шаги и возглас: «Ха-ха!» — сопровождаемый, должно быть, пьяным жестом.

Видя, что я не встаю, Гез пошевелил бровью, пристально посмотрел на меня с головы до ног и сказал:

— Это вернулся наконец Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращусь.

Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна-иллюминаторы, диаметром более двух футов, какие никогда не де-

лаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра; небольшие диваны, обитые дорогим серо-зеленым шелком; палисандровая отделка стен; карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и три электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке — были предметами подлинной роскоши — в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе — дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее, среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином, стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверец буфета свешивалась грязная тряпка.

Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Геза по его возвращении — будет ли он против, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте и за приличную плату.

— Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?

— Мне показалось,— заметил я,— что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.

Гез медлил. Я видел, что мое намерение снестись с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гезу.

— Как вам будет угодно,— сказал Гез.— Я остаюсь при своем, о чем говорил.

— Не спорю.— Мое дружелюбное оживление прошло, сменяясь досадой.— Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.

Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том: поведение Геза мне очень не нравилось.

— Проиграв дело в *низшей* инстанции! — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска; лицо неприятно и дерзко оживилось.— Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите.

Это была уже непростительная резкость, и в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гезом на его корабле «Бегущая по волнам», а потому решил не давать более

повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой.

— Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос,— сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо.— Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.

«Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда»,— сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гезу:

— Все-таки мне надо пойти; я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?

— Я не дам денег,— сказал Гез круто и зло.

— Вы отдадите мне мое жалованье,— мрачно продолжал человек с трубкой,— иначе мы расстаемся.

— Бутлер, вы получите жалованье завтра, когда протрезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша.

— Хорошо! — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал, старшим помощником Геза.— Прекрасные вы говорите слова! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам,— настоящим, прошлым и будущим?! Могу тратить свои деньги, как я желаю.

Гез не ответил, но проклятия, которые он сдержал, отпечатались на его лице. Энергия этого заряда вылилась в его обращении ко мне. Неприязненный, но хладнокровный джентльмен исчез. Тон обращения Геза напоминал брань.

— Ну, как,— сказал он, стоя у трапа, когда я начал идти по нему,— правда, «Бегущая по волнам» красива, как «Гентская кружевница»? («Гентская кружевница» было судно, потопленное лет сто назад пиратом Киддом Вторым за его удивительную красоту, которой все восхищались.) Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость; если бы вы увидели его на ходу и побыли на нем один день,— вы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас губа не дура.

— Капитан Гез! — вскричал я, разгневанный тем более, что Бутлер, подойдя, усмехнулся.— Если мне действительно придется плыть на корабле этом и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость, во всяком случае, более ровным обращением с вами.

Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо

приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гез поспешно и взволнованно произнес:

— Да, я виноват, простите! Я расстроен! Я взбешен! Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего!

Не знаю, что подействовало неприятнее,— грубость Геза или этот его странный порыв. Пожав плечами, я спустился на берег и, значительно отойдя, обернулся, еще раз увидев высокие мачты «Бегущей по волнам», с уверенностью, что Гез или Браун, или оба они вместе, должны будут отнестись к моему намерению самым положительным образом.

Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно разбирать их, был слышен в глубине сердца, не даваясь сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях *моих* редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне, и был не властен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал, без всяких объяснений и доказательств,— это, что корабль Геза и неизвестная девушка Биче Сениэль должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе,— представления возникли с той убедительностью, как бывает при горе или испуге.

Ночь прошла скверно. Я видел сны,— много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение.

В девять часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что думает он о таком повороте «трещины на стекле».

Глава VI

Хотя было рано, Филатр заставил ждать себя очень недолго. Через три минуты, как я сел в его кабинете, он

вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к десяти часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав:

— Мне кажется, что с вами что-то произошло!

— Между конторой Угольного синдиката и углом набережной,— сказал я,— стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущая по волнам».

— Как! — сказал Филатр, изумленный более, чем даже я ожидал.— Это не шутка?! Но... позвольте... Ничего, я слушаю вас.

— Оно стоит и теперь.

Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатр опустил глаза, медленно приподняв брови; по выразительному лицу его прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня.

— Да, это бьет,— заметил он.— Но есть продолжение, конечно?

Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть «Бегущую по волнам» раньше, чем пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гезом.

— Вы согласитесь,— прибавил я при конце своего рассказа,— что у меня могло быть только *это* желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.

— Да,— сказал Филатр, протягивая сигару в воздух к воображаемой пепельнице.— Все так. Но положение, как ни верти,— щекотливое. Впрочем, это — часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гез ссылается на Брауна, сам будучи против вас, и это верная примета, что Браун сошлется на Геза. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу.

Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо.

— С трудом соображаю, что писать,— сказал он, оборачиваясь ко мне виском и углом глаза.

Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги.

— Заметьте,— сказал Филатр, останавливаясь,— что

Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами, и все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь — дальше: «Когда-то, в счастливый для вас и меня день, вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит; затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...»

— Эта дипломатическая неточность, или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения? — спросил Филатр; затем продолжал писать и читать: «...родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс-другой в каюте...»

— Как странно произносить эти слова,— перебил себя Филатр.— А я их даже пишу: «каюте корабля «Бегущая по волнам», который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...»

— ...и так далее,— прикончил Филатр, покрывая конверт размашистыми строками адреса.

Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной.

Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Геза ушло.

— Простите, Филатр,— сказал я, объяснив ему это.— Нетерпение мое велико!

Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полуудерживающий жест, коснувшись моего плеча; медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки.

— Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?

— Да, но что? — ответил я.— Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.

— Вы правы, к сожалению. Да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишете мне с дороги? Я узнаю, что произошло с вами?

Я обещал ему и прибавил:

— А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатр?! Вместе со мной?!

Филатр развел руками и улыбнулся.

— Это заманчиво,— сказал он,— но... но... но...— Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещиц письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет — фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову.

— Ничто не вознаградит меня,— сказал Филатр, закуривая и резко бросая спичку.— Как ни своеобразен, как ни аскетичен,— по-своему, конечно,— ваш внутренний мир, вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые, при всей их искренности, должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце,— Филатр позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна.

Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатр отъехал и обернулся, крикнув:

— Да, с этим не...— Остальное я не расслышал.

Глава VII

Контора Брауна «Арматор и Груз», как большинство контор такого типа, помещалась на набережной, очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и, едва вышел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера «Бегущую по волнам». Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бугшприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение.

День был горяч, душен, как воздух над раскаленной

плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду.

Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым в возбуждении стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне в слух слово «Гез», отчего я, также забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался.

— Я его не забуду,— говорил матрос.— Я плаваю двадцать лет. Я видел столько капитанов, что, если их сразу сюда впустить, не хватит места всем стать на одной ноге. Я понимаю так, что Гез — сущий дьявол. Не приведи бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вымотает из него все жилы. Я вам скажу: это — бешеный человек. Однажды он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа, только стонал. Мне самому попало; больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придраться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный, мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть, собьет с ног. Это у него — вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал — «понимай, мол, как знаешь, отчего я молчу» — и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же?! На его век дураков хватит!

Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана; потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку.

Все это касалось меня.

— О каком Гезе вы говорите? — спросил я.— Не о том ли, чье судно называется «Бегущая по волнам»?

— Он самый, сударь,— ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо.— Вы, значит, знаете, что это за человек, если только он человек, а не бешеная собака!

— Я слышал о нем,— сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время.— Но я не встречался с ним. Действительно ли он — изверг и негодяй?

— Совершенная...— начал матрос, поперхнувшись и побагровев, с торжественной медленностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить — «истина»,— как за моей спиной, перебивая ответ матроса, вылетел неожиданный, резкий возглас: «Чепуха!» Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида.

— Совершенная чепуха,— сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса.— Я не знаю, какое вам дело до капитана Геза, но я,— а вы видите, что я не начальство, что я такой же матрос, как этот горлан,— он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору,— и я утверждаю, что капитан Гез, во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейшей души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел — это мое дело, и Гез в том не виноват. Мы сделали два рейса в Гор-Сайн. Из всей команды он не сказал никому дурного слова, а наш брат,— что там вилять,— сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гез избил плотника. Из остальных сделал котлеты. Кто же поверит этакому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу Бутлеру, старшему помощнику, капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же Бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гез собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слыхивали. И если промеж нас случалась ссора, Гез говорил одно: «Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло».

Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Геза, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и, с выражением терпеливого неодобрения, стал слушать взбешенного хулителя Геза. Я видел, что оба они вполне искренни и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, взывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Геза еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на «Бегущей по волнам»? Тот с достоинством, но с неменьшей запальчивостью рассказал, как он заболел, отчего взял расчет по прибытии в Лисс. Запутавшись в крике, оба стали ссы-

даться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Геза в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки, брань и ярость фактов, сопровождаемых биением кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну.

Вывеска конторы «Арматор и Груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опущенными на солнечной стороне занавесями, где, среди деловых столов, перестрелки пишущих машин и сдержанных разговоров служащих, ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках.

Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна; уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

Глава VIII

Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал,— не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник, это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованной ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма.

Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях; одет элегантно; разговаривая, он держал карандаш, гладя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы

дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей.

— Но,— прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх,— возникла неточность. Судно это не принадлежит мне; оно собственность Геза, и хотя он, как я думаю,— тут, повертев карандаш, Браун уставил его конец в подбородок,— не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном.

Я ответил, что разговор был и что капитан Гез не согласился взять меня пассажиром на борт «Бегущей по волнам». Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Геза о принадлежности корабля ему. Это положение дела я представил без всех его странностей, как обычный случай или естественную помеху.

У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивых скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнения в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела.

— Относительно капитана Геза,— задумчиво сказал Браун,— я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гез некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля; и так произошло оттого, что Вильям Гез обладает воистину змеиным даром горячего, толкового убеждения,— правильнее, способностью закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гез сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Геза. Сын ухитрился привести с собою тень покойника — очень хорошего, неглупого человека — и яростно умолял меня спасти «Бегущую по волнам». Как вы видите,— Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамах красовались фотографии пароходов, числом более десяти,— никакой особой корысти извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании, а потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас

есть козырь против капризов Геза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете; это решено, и я напишу Гезу записку, содержание которой даст ему случай оказать вам любезный прием. Гез — сложный, очень тяжелый человек. Советую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит.

Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже — строго говоря — насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.

Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким, успокоительным движением. Я спросил, не знает ли он истории корабля, на что, несколько помедлив, Браун ответил:

— Оно приобретено Гезом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип — парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер.— Браун взглянул на барометр.— Должен быть ветер.

— Гез сказал мне, что простоит месяц.

— Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут: Гель-Гью, Тоуз, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Дагон за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния.

— Однако у него не осталось ни одного матроса.

— О, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности — для Геза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион.

Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гезу явную неловкость его положения.

Глава IX

Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав: на палубе виднелись матросы.

Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гез взял первых попавшихся под руку.

Справясь, я разыскал Геза в капитанской каюте. Он сидел за столом с Бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах.

— Очень рад вас видеть,— сказал Гез после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гезу.— Вы были у Брауна?

Я отдал ему письмо. Он распечатал, прочел, взглянул на меня, на Бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся.

— Следовательно, вы устроились,— сказал Гез, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман.— Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море. Море! Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море...— Он задумался, потом продолжал: — Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гель-Гью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?

Я сказал, что мое желание — перевезти вещи немедленно. Почти приятельский тон Геза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту.

— Вычтите из итога и накиньте комиссионные,— сказал, вставая, Гез Бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкий, приглашающий жест.

— Это одна из лучших кают,— сказал Гез, входя за мной.— Вот умывальник, шкаф для книг и несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол —

общий, а впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не могу похвастаться. Я взял их на один рейс. Но слуга попался хороший, славный такой мулат; он служил у меня раньше, на «Эригоне».

Я был,— смешно сказать,— тронут: так теперешнее обращение капитана звучало непохоже на его дрянной, искусственно флегматичный и — потом — зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримо хозяйские права Геза начали меня смущать; вздумай он категорически заявить их, я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плавания, я теперь не мог. Я надеялся, что Гез передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одном из наилучших регуляторов всех запутанных положений.

— Относительно денег я решил так,— сказал Гез, выходя из каюты,— вы уплачиваете за стол, помещение и проезд двести фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.

Мне показалось, что из глаза в глаз Геза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Взбешенный, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем великого своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу двести фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.

— Хорошо,— сказал я,— я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.

— Так,— ответил Гез тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов; потом, как бы спохватясь, попрощался: — Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное.

Мы расстались, и я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в четыре часа дня на «Бегущей по волнам», куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал и уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломаного гроша; затем велел вынести багаж и приехал к кораблю

в то время, когда Гез сходил на набережную. Его сопровождали Бутлер и второй помощник — Синкрайт, молодой человек с хитрым, неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гез, небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня, затем все трое скрылись в арке Трехмильного Проезда.

На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедленно явился расторонный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту.

Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне. «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее тремястами ящиками железных изделий. Наивно и представительно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, и скаля на каждом слове крепкие зубы, Гораций наконец проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма.

— Я должен вам сказать, господин,— проговорил Гораций, потирая ладони,— что будет очень, очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам — прекрасных синьор. Это его знакомые. Уже приготовлены две каюты. Там уже поставлены: духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала; постлано тонкое белье. А также закуплено много вина. Вино будет всем — и мне и матросам.

— Недурно,— сказал я, начиная понимать, какого рода дам намерен пригласить Гез в Дагоне.— Надеюсь, они не его родственницы?

В выразительном лице Горация перемигнулось все, от подбородка до вывернутых белков глаз. Он щелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать.

— Я не приму участия в вашем веселье,— сказал я.— Но Гез может, конечно, развлекаться, как ему нравится.

С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном.

Зная свойство слуг всячески раздувать сплетню, а также, в ожидании наживы, присочинять небылицы, которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Геза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту (капитан отправился обедать в гостиницу), я съел его, очень довольный одиночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой.

— Что же это? — сказал он.— Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме *ваши* слова и — теперь — вас; я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьянсов и шоколад, более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом: «Пирамида» и «Красное-черное».

Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с «Бегущей по волнам», как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гезе. После его свидания с Брауном Филатр говорил с ним в телефон, получив более полную характеристику капитана.

— По-видимому, ему нельзя верить,— сказал Филатр.— Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны; так что хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знайте также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, «Бегущая по волнам» присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?

— У меня два строя мыслей теперь,— ответил я.— Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием: отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке,— это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить.

Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор

перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной, но в этих обыкновенных речах неотступно присутствовали слова «Бегущая по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. След утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуждении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в заразительном, увлекающем признании.

Я проводил его и вышел с ним на набережную. Расставаясь, Филатр сказал:

— Будьте с легкой душой и хорошим ветром!

Но по ощущению его крепкой, горячей руки и взгляду я услышал больше, как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе:

— Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.

Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрайта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, и лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гезе.

— Я слышал,— сказал он, присматриваясь ко мне,— что вы не поладили с капитаном. Верно; поладить с ним трудно, но, если уж вы с ним поладили,— этот человек сделает все. Я всей душой на его стороне; скажу прямо: это — моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи; смею вас уверить,— все клевета. Он вспыльчив и самолюбив — о, очень горяч! Замечательный человек! Стоит вам пожелать — и Гез составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре: три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам? Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить.

Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узор-

ным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туалетным прибором. На столе черного дерева, замечательной работы, были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе; на стенах — атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым одеялом — все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стенного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг; несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой.

Я осматривал с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал:

— Каково живет капитан? Это его каюта. Я ее показал затем, что здесь во всем самый тонкий вкус. Вот сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги, и самые разные.

Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое жилье без ведома и согласия хозяина.

— Это вы виноваты,— прибавил я.— Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?

Синкрайт озадаченно помолчал: так, видимо, изумили его мои слова.

— Хорошо,— сказал он угасшим тоном.— Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня вторые ключи от всех помещений, и...— Не зная, что еще сказать, он закончил: — Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки,— уверенно повторил Синкрайт.— Мы здесь все — свои люди.

— Пройдем в библиотеку,— предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях.

Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов тысячи в три. Вдоль полок, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.

Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гез закупил еще томов триста.

— Браун не ездит с вами? — спросил я.— Или он временно передал корабль Гезу?

На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга, и уже листы разрезаны!» — или: «Впору университету такая библиотека». Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись, для разнообразия, на переутомление.

Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста. Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках, и даже на русском. Содержание их было различное: история, математика, философия, редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв, книги по мореходству и справочники, но более всего — романы, где рядом с Теккереем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры.

Между тем смеркалось; я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрайтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты — подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на крап: одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего па всех парусах в резком ветре, крап другой колоды был великолепный натюрморт — золотой кубок, полный до краев алым вином, среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и, хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.

В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу — ужинать.

Когда я вошел, Гез, Бутлер, Синкрайт уже были за столом в общем салоне.

Глава X

Гез кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда.

Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе, но Гез перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванию, Гез кратко отвечал: «Да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне.

Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показал мне, что новая, наспех нанятая команда — лишь наполовину кое-что стоящие матросы; остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрайтом пили если и не так круто, как Гез, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая, Гораций возился с моим прибором несколько тщательнее, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гез, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал.

Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрайта:

— Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией, почему придется дать им две каюты.

Все расхохотались своим, имеющим, конечно, особое значение, мыслям.

— У нас будут дамы,— сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня, Гез.— Вас это не беспокоит?

Я ответил, что мне все равно.

— Тем лучше,— заявил Гез.

Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело; за ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан, стоя, курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.

— Партию в шахматы? — сказал он учтиво.— Если вам угодно.

Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей, художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей.

Хотя Гез был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него,— он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым, так как он боролся с желудком.

— Да,— сказал Гез,— были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, «Бегущая по волнам» — бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного... он потом разорился. Итак,— Гез повертел королеву,— с женщинами входит шум, трепет, крики; конечно — беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?

— Я не составил взгляда на такое обстоятельство,— ответил я, делая ход.

— Вам это должно нравиться,— продолжал Гез, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию.— Должно, потому что вы,— я говорю это без мысли обидеть вас,— появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.

— Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?

Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферзью и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза; наконец я обманул его ложной надеждой и объявил мат в семь ходов. Гез был красен от раздражения. Когда он ссыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали.

— Вы сильный игрок,— объявил Гез.— Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон, там берем груз и плывем в Гель-Гью. Вы не были в Гель-Гью? Он лежит, по курсу, на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше как через двадцать-двадцать пять дней.

Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно.

Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.

Глава XI

Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что «Бегущая по волнам» больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам; было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна.

На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность, неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничась полустаканом холодного пунша, который держал всегда в дороге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что, не будь дождя, Лисс был бы виден на расстоянии часа пути.

— Хороший ветер,— прибавил Гораций.— Капитан Гез держит вахту, так что вам завтракать без него.

При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отношения.

Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны, при солнце или дожде,— все равно; поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закипутым, если смотреть вверх, лицом — таково, что видеть их, двигаясь с ними,— одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди

резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

«Бегущая по волнам» шла на резком попутном ветре со скоростью,— как я взглянул на лаг,— пятнадцати морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гез. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым.

Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, дожидающегося завтрака, и мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня; мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный; вчерашний хмель сказывался у него бледностью; руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так, он подробно, мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно узнать направление и все заходы корабля, я обратился к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Геза.

Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно,— говорить или не говорить,— Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Геза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало, даже в мелочах, держаться настороже, тем более — с Синкрайтом, сильно не нравящимся мне всей своей повадкой, и я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Геза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась.

— Я слышал,— сказал Синкрайт,— что вам все равно, куда мы плывем, поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.

— Мне это действительно все равно,— ответил я, морщась от его угодливой улыбки,— но такое отношение не мешает законному любопытству.

Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав: «Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу».

Я стоял у стола, склонясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня, и, машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

Глава XII

Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнанными без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было не плохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь правой рукой; левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чипность позы. На девушке было темное платье с кружевным вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице.

Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрайт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрайта хотя бы мгновением на этом портрете — казалось мне нестерпимо.

Хотя я видел девушку всего раз, на расстоянии, и не говорил с ней,— это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но — *теперь* — резко и тяжело; оно неестественно соединялось с личностью Геза. В это время Синкрайт сказал:

— Отсюда идет течение; даже при слабом ветре можно сделать...

— От десяти до двенадцати миль,— сказал Гез позади меня. Я не слышал, как он вошел.— Синкрайт,— продолжал Гез,— ваша вахта началась четыре минуты назад. Ступайте, я покажу карту.

Синкрайт, спохватясь, ринулся и исчез.

Обветренное лицо Геза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гез оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гель-Гью дней через пять-шесть. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Биче Сениэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому пройдохе, как Гез,— навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать.

Взгляд Геза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову; встретясь, наконец, с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, отгоняя рукой дым сигары.

— Как вам нравится Синкрайт? — сказал он, протягивая руку к столу — стряхнуть пепел. При этом, не поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к *той* девушке, и от сильного желания понять суть отношения,— но понять без расспросов,— я придал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатр оказался прав, когда заметил, что — «обозначается действие»,— а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо, окончательно убежден, что события приведут к действию.

Итак, я ответил на вопрос о Синкрайте:

— Синкрайт, как всякий человек первого дня пути,— человек, похожий на всех: с руками и головой.

— Дрянь человек,— сказал Гез. Его несколько злобное утомление исчезло; он погасил окурок, стал вдруг улыбаться и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую — во всех отношениях жизни на корабле.

Ответив, как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично разумно по форме,— я встал, полагая, что Гез отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гез отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул

руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку.

Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гез тронул струны, подвинтил колки и наладил смычок, говоря:

— Если будет очень противно, скажите немедленно.

Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гез встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза.

Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на полфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт, и есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот страстный этюд и порывистая манера Геза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гез покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я услышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв; затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом,— Гез, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня.

Я похвалил его игру. Он если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гез принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие диссонансы — и так притворно увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал.

Видя, что я решительно встал, Гез опустил смычок и пожелал приятно провести день — несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о происшедшем.

Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг.

Единственным человеком, которого, без особого морального насилия над собой, я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был Бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что Бутлер придет.

Меж тем погода улучшилась; ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп; хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и Бутлер действительно появился, если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стаканчиком полезных размеров.

Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый, живой тон, рассказал анекдот и, когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на непринужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы,— сказал ему, что «Бегущая по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть.

— Оно было бы еще лучше,— сказал Бутлер,— для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм. Но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость, но все же грузить более двухсот тонн немыслимо. Теперь, при высокой цене фрахта, еще можно существовать, а вот в прошлом году Гез наделал немало долгов.

Я узнал также, что судно построено Нэдом Сениэлем четырнадцать лет назад. При имени «Сениэль» — воздух сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица.

— Оно выстроено для прогулок,— говорил Бутлер,— и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сениэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гель-Гью; те были выкинуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно,— «Бегущая по волнам». Значит, эта история — отчасти фамильная, и жена Сениэля выбрала для

корабля тоже такое название. Лет пять назад Нэд Сениэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитаном «Бегущей»; я здесь недавно. Вся эта история мне известна от Геза.

— Следовательно,— спросил я,— Гез купил судно после разорения Сениэля?

Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав:

— Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела — не моя забота.

Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гезу, выразив сожаление, крайне смягченное по остроте своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна; она лишена правильных семейных забот.

— Детей?! — сказал Бутлер, делая круглые глаза. Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера.— Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?

— Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гез женат.

— Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни; ну, так это дочь Сениэля.

Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом, замкнутом лице выступила улыбка,— начало улыбки.

Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бутлер навряд ли стал бы распространяться подробнее малознакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством.

Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела.

Я остался. Я думал, не следовало ли рассказать Бутлеру о моей встрече на берегу с Биче Сениэль, но вспомнил, что мне в сущности ничего не известно об отношениях Геза и Бутлера. Он мог передать этот разговор капитану, вызвав тем новые осложнения. Кроме того, почти

одновременное прибытие девушки и корабля в Лисс — не произошло ли с ведома и согласия обеих сторон? Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка; узнав кое-что, я, как и раньше, знал очень немного о том, почему фотография Биче Сениэль украшает стол Геза. Человеческие отношения бесконечно разнообразны, я встречал случаи, когда громадный интерес к темному положению распыливался простейшим решением, иногда — пустяком. С другой стороны, надо было признать, что портрет дочери Сениэля, очень красивой и на редкость привлекательной девушки, не мог быть храним Гезом безотносительно к его чувствам. Со всем тем странно было допустить взаимную близость этих двух, столь непохожих людей.

Не делая решительных выводов, то есть представляя их, но оставляя в сомнении, я заметил, как мои размышления о Биче Сениэль стали пристрастны и беспокойны. Воспоминание о ней вызывало тревогу; если мимолетное впечатление ее личности было так пристально, то прямое знакомство могло вызвать чувство еще более сильное и, вероятно, тяжелое, как болезнь. Не один раз наблюдал я это совершенное поглощение одного существа другим — женщиной или девушкой. Мне случалось быть в положении, требующем точного взгляда на свое состояние, и я никогда не мог установить, где подлинное начало этой мучительной приверженности, столь сильной, что нет даже стремления к обладанию; встреча, взгляд, рука, голос, смех, шутка — уже являются облегчением, таким мощным среди остановившей всю жизнь одержимости единственным существом, что радость равна спасению. Но я был на большом расстоянии от прекрасной опасности, и я был спокоен, если можно назвать спокойствием упорное размышление, лишенное терзающего стремления к встрече.

Меж тем солнце пробилось наконец сквозь туманные облачные пласты; по яркому морю кружилась пена. Вскоре я отправился к себе вниз, где, никем не потревоженный, провел в чтении около трех часов. Я читал две книги — одна была в душе, другая в руках.

Приближалось время обеда, который, по корабельным правилам, подавался в час дня. Качать стало медленнее и не так сильно, как утром. Я решил обедать один по той причине, что обед приходился на вахтенные часы Бутлера и мне предстояло, следовательно, сидеть с Гезом и Синкрайтом. Я никогда не чувствовал себя хорошо в

обществе людей, относительно которых ломал голову над каким-либо обстоятельством их жизни, не имея возможности прямо о том сказать. Это — о Гезе; что касается Синкрайта,— его ползающая улыбка и сальный взгляд были мне нестерпимы.

Вызвав Горация, я сговорился с ним, узнав, что обед будет несколько раньше часа, потому что близок Дагон, где, как известно, Гез должен погрузить железо.

Скоро мне в каюту подали обед. Я отобедал и, заслышав на палубе оживление, вышел наверх.

Глава XIV

«Бегущая по волнам» приближалась к бухте, раскинутой широким охватом отступившего в глубину берега. Оттуда шел смутный перебой гула. Гез, Бутлер и Синкрайт стояли у борта. Команда тянула фалы и брасы, переходя от мачты к мачте.

Берег развертывался мрачной перспективой фабричных труб, опоясанных слоями черного дыма. Береговая линия, где угрюмые фасады, акведуки, мосты, краны, цистерны и склады теснились среди рельсовых путей, напоминали затейливый силуэт, так было здесь все черно от угля и копоти. Стон ударов по железу набрасывался со всех концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обморочное дребезжание подвод — все это, если слушать, не разделяя звуков, составляло один крик. Среди рева металлов, отстукивая и частя, выбрасывали гнилой пар сотни всяческих труб. У молотов, покрытых складками и сооружениями, вид которых напоминал орудия пытки,— так много крюков и цепей болталось среди этих подобий Эйфелевой башни,— стояли баржи и пароходы, пыля выгружаемым каменным углем.

«Бегущая по волнам» опустила якорь. Паруса упали, потом исчезли. Встретив Бутлера, я спросил, долго ли мы пробудем в Дагоне. Он сказал, что скоро начнут грузить, и действительно, прошло около получаса, как буксир подвел к нам четырехугольный тяжелый баркас, из трюма которого носильщики стали таскать по трапу крепкие деревянные ящики. Чистая палуба «Бегущей» покрылась грязью и пылью. Я ушел к себе, где некоторое время

слышал однообразную звуковую картину: топот босых ног, стук брошенного на скат ящика и хриплые голоса. Так продолжалось часа два. Наконец установилась относительная тишина. Все рабочие, как я видел это в иллюминатор, сошли на шаланду, и буксир потащил ее в порт.

Вскоре после этого к навесному трапу, опущенному по той стороне корабля, где находилась моя каюта, подплыла лодка, управляемая наемным лодочником. Шлюпка прошла так близко от иллюминатора, что я бегло рассмотрел ее пассажиров. Это были три женщины: рыжая, худенькая, с сжатым ртом и прищуренными глазами; крупная, заносчивого вида, блондинка и третья — бледная, черноволосая, нервного, угловатого сложения. Махая руками, эти три женщины встали, смотря вверх и выкрикивая какие-то отчаянные приветствия. На их плечах были кружевные накидки; волосы подобраны с грубой пышностью, какой принято поражать в известных местах; сильно напудренная, театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях, компания эта быстро пересекла круглый экран пространства, открываемого иллюминатором. Я заметил картонки и чемоданы. Гез получил гостей.

Даже не поднимаясь на палубу, я мог отлично представить сцену встречи женщин. Для этого не требовалось изучения нравов. Пока я мысленно видел плохую игру в хорошие манеры, а также ненатурально подчеркнутую галантность,— в отдалении послышалось, как весь отряд бредет вниз. Частые шаги женщин и тяжелая походка мужчин проследовали мимо моей двери, причем на слова, сказанные кем-то вполголоса, раздался взрыв смеха.

В каюте Геза стоял портрет неизвестной девушки. Участники оргии собрались в полном составе. Я плыл на корабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства, так же странного при этих обстоятельствах, как ревнивое желание разобраться, о чем шепчутся за стеной.

Во всем крылся великий и опасный сарказм, зародивший тревогу. Я ждал, что Гез сохранит в распутстве своем по крайней мере возможную элегантность,— так я думал по некоторым его личным чертам; но поведение Геза заставило ожидать худших вещей, а потому я утвердился в намерении совершенно уединиться. Сильнее всего мучила меня мысль, что, выходя на палубу днем, я

рисковал, против воли, быть втянутым в удалую компанию. Мне оставалось — раннее, еще дремотное утро и глухая ночь.

Пока я так рассуждал, стало смеркаться. Береговой шум раздавался теперь глуше; я слышал, как под окрики Бутлера ставят паруса, делаются приготовления плыть далее. Брашпиль начал выворачивать якорь, и погромыхивающий треск якорной цепи некоторое время был главным звуком на корабле. Наконец произвели поворот. Я видел, как черный, в огнях берег уходит влево и океан расстилает чистый горизонт, озаренный закатом. Смотря в иллюминатор, я по движению волн, плывущих на меня, но отходящих по борту дальше, назад, минуя окно, заметил, что «Бегущая» идет довольно быстро.

Из столовой донесся торжествующий женский крик; потом долго хохотал Синкрайт. По коридору промчался Гораций, бренча посудой. Затем я слышал, как его распекали. После того неожиданно у моей двери раздались шаги, и подошедший стукнул. Я немедленно открыл дверь.

Это был надушенный и осмелевший Синкрайт, в первом заряде разгульного настроения. Когда дверь открылась,— из салона, сквозь громкий разговор, послышалось треньканье гитар.

Повинуясь моему взгляду, Синкрайт закрыл дверь и преувеличенно вежливо поклонился.

— Капитан Гез просит вас сделать честь пожаловать к столу,— заявил он.

— Передайте капитану мою искреннюю благодарность,— ответил я с досадой,— но скажите также, что я отказываюсь.

— Надеюсь, вас можно убедить,— продолжал Синкрайт,— тем более, что все мы будем очень огорчены.

— Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.

— Хорошо! — сказал он удивленно и вышел, повторяя: — Жаль, очень жаль!

Предчувствуя дальнейшие покушения, я взял перо, бумагу и сел к столу. Я начал писать Лерху, рассчитывая послать это письмо при первой остановке. Я хотел иметь крупную сумму.

На второй странице письма снова раздался настойчивый стук; не дожидаясь разрешения, в каюту вступил Гез.

Я повернулся с неприятным чувством зависимости, какое испытывает всякий, если хозяева делаются бесцеремонными.

Гез был в смокинге. Его безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная судорога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян. Подойдя так близко, что я, встав, отодвинулся, опасаясь неустойчивости его тела, Гез оперся правой рукой о стол, а левой подбоченился. Он нервно дышал, стараясь стоять прямо, и сохранял равновесие при качке тем, что сгибал и распрямлял колено. На мою занятость письмом Гез даже не обратил внимания.

— Хотите повеселиться? — сказал он, значительно подмигивая, в то время как его острый, холодный взгляд безучастного к этой фразе лица внимательно изучал меня.— Я намерен установить простые, дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.

— Синкрайт был,— заметил я как мог миролюбиво.— Он, конечно, передал вам мой ответ.

— Я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь,— объявил Гез.— Бросьте это! Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.

— Капитан Гез,— сказал я, тщательно подбирая слова, чувствуя приступ ярости, не желая поддаваться гневу, но видя, что принужден положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах,— капитан Гез, я прошу вас навсегда забыть обо мне как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл и оправдание; более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек, и если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.

Сказав так, я ждал, что он пробурчит извинение и уйдет. Он не изменил позу, не шелохнулся, лишь стал еще бледнее, чем был. Откровенная неистовая ненависть светилась в его глазах. Он вздохнул и засунул руки в карманы.

— Вы нанесли мне оскорбление,— медленно произнес Гез.— Еще никто... Вы высказали мне презрение, и я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать: как вы представляете наши отношения дальше?! Хотел бы я знать, да! Не менее тридцати дней продлится мой рейс. Даю слово, что вы раскаетесь.

— Наши отношения точно определены,— сказал я, не видя смысла уступать ему в тоне.— Вы получили двести фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество, в придачу к ней,— не слишком ли незавидная компенсация?

Был один момент, когда, следя за выражением лица Геза, я подумал, что придется выбросить его вон. Однако он сдержался. Пристально смотря мне в глаза, Гез засунул руку во внутренний карман, задержал там ее порывистое движение и торжественно произнес:

— Я тотчас швырну вам эти деньги назад!

Он вынул руку, оказавшуюся пустой, с гневом опустил ее и, повторив, что вернет деньги, добавил: «Вам не придется хвастаться своими деньгами»,— затем вышел, хлопнув дверью.

После этого я немедленно запер каюту ключом и стал у двери, прислушиваясь.

В столовой наступила относительная тишина; меланхолически звучала гитара. Там стали ходить, переговариваться, еще раз пронесся Гораций, крича на ходу: «Готово, готово, готово!» Все показывало, что попойка не замирает, а развертывается. Затем я услышал шум ссоры, женский горький плач и — после всего этого — хоровую песню.

Устав прислушиваться, я сел и погрузился в раздумье. Гез сказал правду: трудно было ждать впереди чего-нибудь хорошего при этих условиях. Я решил, что, если ближайший день не переменит всей этой злобной нечистоты в хотя бы подобие спокойной жизни,— самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Я был сильно обеспокоен поведением Геза. Хотя я не видел прямых причин его ненависти ко мне, все же сознавал, что так должно быть. Он был естествен в своей ненависти. Он не понимал меня, я — его. Поэтому, с его характером, образовалось военное положение, и с гневом, с тяжелым чувством безобразия минувшей сцены, я лег, но лег не раздеваясь, так как не знал, что еще может произойти.

Улегшись, я закрыл глаза, скоро опять открыв их. При моем этом состоянии сон был прекрасной, но наивной выдумкой. Я лежал так долго, еще раз обдумывая события вечера, а также объяснение с Гезом завтра утром, которое считал неизбежным. Я стал наконец надеяться, что, когда Гез очнется,— если только он сможет очнуться,— я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва ли не раскаивается уже теперь. Увы, я мало знал этого человека!

Глава XVI

Прошло минут пятнадцать, как, несколько успокоясь, я представил эту возможность. Вдруг шум, слышный на расстоянии коридора, словно бы за стеной, перешел в коридор. Все или почти все вышли оттуда, возясь около моей двери с угрожающими и беспокойными криками. Было слышно каждое слово.

— Оставьте ее! — закричала женщина.

Вторая злобно твердила:

— Дура ты, дура! Зачем тебя черт понес с нами?

Послышались плач, возня; затем ужасный, истерический крик:

— Я не могу, не могу! Уйдите, уйдите к черту, оставьте меня!

— Замолчи! — крикнул Гез. По-видимому, он зажимал ее рот.— Иди сюда. Берите ее, Синкрайт!

Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» — и позорный звук тяжелой пощечины прозвучал среди громких рыданий. Они перешли в вопль, и я открыл дверь.

Мое внезапное появление придало гнусной картине краткую неподвижность. На заднем плане, в дверях салона, стоял сумрачный Бутлер, держа за талию раскрасневшуюся блондинку и наблюдая происходящее с невозмутимостью уличного прохожего. Гез тащил в салон темноволосую девушку; тянул ее за руку. Ее лиф был расстегнут, платье сползло с плеч, и, совершенно ошалев, пьяная, с закрытыми глазами, она судорожно рыдала;

пытаясь вырваться, она едва не падала на Синкрайта, который, увидев меня, выпустил другую руку жертвы. Рыжая женщина, презрительно подбоченясь, смотрела свысока на темноволосую и курила, отбрасывая руку от рта резким движением хмельной твари.

— Пора прекратить скандал,— сказал я твердо.— Довольно этого безобразия. Вы, Гез, ударили эту женщину.

— Прочь! — крикнул он, наклонив голову.

Одновременно с тем он опустил руку, так что не ожидавшая этого женщина повернулась вокруг себя и хлопнулась спиной о стену. Ее глаза дико открылись. Она была жалка и мутно, синевато бледна.

— Скотина! — Она говорила, задыхаясь и хрипя, указывая на Геза пальцем.— Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было,— обратилась она ко мне.— Было пари. Я проиграла. Проигравший должен выпить бутылку. Я больше пить не могу. Мне худо. Я выпила столько, что и не угнаться этим соплякам. Насильно со мной ничего не сделаешь. Я больна.

— Идешь ты? — сказал Гез, хватая ее за шею.

Она вскрикнула и плюнула ему в лицо. Я успел поймать занесенную руку капитана, так как его кулак мелькнул мимо меня.

— Ступайте, ступайте! — испуганно закричал Синкрайт.— Это не ваше дело!

Я боролся с Гезом. Видя, что я заступился, женщина вывернулась и отбежала за мою спину. Изогнувшись, Гез отчаянным усилием вырвал от меня свою руку. Он был в слепом бешенстве. Дрожали его плечи, руки; тряслось и кривилось лицо. Он размахнулся: удар пришелся мне по локтю левой руки, которой я прикрыл голову. Тогда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот, после чего Гез грохнулся во весь рост, стукнув затылком.

— Довольно! Довольно! — закричал Бутлер.

Женщины, взвизгнув, исчезли. Бутлер встал между мной и поверженным капитаном, которого, приподняв под мышки, Синкрайт пытался прислонить к стенке. Наконец Гез открыл глаза и подобрал ногу; видя, что он жив, я вошел в каюту и повернул ключ.

Все трое говорили за дверью промеж себя, и я время от времени слышал отчетливые ругательства. Разговор перешел в подозрительный шепот; потом кто-то из них

выразил удивление коротким восклицанием и ушел наверх довольно поспешно. Мне показалось, что это Синкрайт. В то же время я приготовил револьвер, так как следовало ожидать продолжения. Хотя нельзя было допустить избиения женщины,— безотносительно к ее репутации,— в чувствах моих образовалась скверная муть, подобная оскомине.

Послышались шаги возвратившегося Синкрайта. Это был он, так как, придя, он громко сказал:

— Однако наш пассажир молодец! И то, правду сказать,— вы первый начали!

— Да, я погорячился,— ответил, вздохнув, Гез.— Ну, что же, я наказан,— и за дело; мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?

— Странный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.

— Смотрите, Гез! — сказал Бутлер; понизив голос, он прибавил: — Мне все равно, но — знайте, что́ я сказал. И не забудьте.

Гез медленно рассмеялся.

— В самом деле! — сказал он.— Я сделаю это немедленно.

Капитан подошел к моей двери и постучал кулаком с решимостью нервной, прямой натуры.

— Кто стучит? — спросил я, поддерживая нелепую игру.

— Это я — Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.

— Если вы действительно раскаиваетесь,— возразил я, мало веря его заявлению,— то скажите мне то же самое, что теперь, но только утром.

Раздался странный скрип, напоминающий скрежет.

— Вы слушаете? — сказал Гез сумрачно, подавленным тоном.— Я клянусь вам. Вы можете мне поверить. Я стыжусь себя. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.

Я знал, что битые часто проникаются уважением и,— как это ни странно,— иногда даже симпатией к тем, кто их физически образумил. Судя по тону и смыслу настойчивых заявлений Геза, я решил, что сопротивляться будет напраслой жестокостью. Я открыл дверь и, не выпуская револьвера, стал на пороге.

Взгляд Геза объяснил все, но было уже поздно. Син-

крайт захватил дверь. Пять или шесть матросов, по-видимому, сошедших вниз крадучись, так как я шагов не слышал, стояли наготове, ожидая приказания. Гез вытирал платком распухшую губу.

— Кажется, я имел глупость вам поверить,— сказал я.

— Держите его,— обратился Гез к матросам.— Отнимите револьвер.

Прежде чем несколько рук успели поймать мою руку, я увернулся и выстрелил два раза, но Гез отделался только тем, что согнулся, отскочив в сторону. Прицелу помешали толчки. После этого я был обезоружен и притиснут к стене. Меня держали так крепко, что я мог только поворачивать голову.

— Вы меня ударили,— сказал Гез.— Вы все время оскорбляли меня. Вы дали мне понять, что я вас ограбил. Вы держали себя так, как будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить. Я вас не трону. Я мог бы заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз,— я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.

Этого я не ожидал, и хотя был сильно встревожен — мой гнев дошел до предела, за которым я предпочитал все опасности моря и суши дальнейшим издевательствам Геза.

— Вы затеваете убийство,— сказал я.— Но помните, что до Дагона никак не более ста миль, и, если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.

— Сколько угодно,— ответил Гез.— За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле! Этому есть свидетели. Покинуть «Бегущую по волнам» *тайно* — в вашем духе. Этому будут свидетели.

Он декламировал, наслаждаясь грозной ролью и закусив удила. Я оглядел матросов. То был подвыпивший, мрачный сброд, ничего не терявший, если бы ему даже приказали меня повесить. Лишь молчавший до сего Бутлер решился возразить:

— Не будет ли немного много, капитан?

Гез так посмотрел на него, что тот плюнул и ушел. Капитан был совершенно невменяем. Как ни странно, именно эти слова Бутлера подстегнули мою решимость

спокойно сойти в шлюпку. Теперь я не остался бы ни при каких просьбах. Мое негодование было безмерно и перешагнуло всякий расчет.

— Давай шлюпку, подлец! — сказал я.

Все мы быстро поднялись вверх. Стоял мрак, но скоро принесли фонарь. «Бегущая» легла в дрейф. Все это совершалось безмолвно — так казалось мне,— потому что я был в состоянии напряженной, болезненной отрешенности. Матросы принесли мои вещи. Я не считал их и не проверял. Значение совершающегося смутно маячило в далеком углу сознания. Были приспущены тали, и я вошел в шлюпку, повисшую над водой. Со мной вошел матрос, испуганно твердя: «Смотрите, вот весла». Затем неизвестные руки перебросили мои вещи. Фигур на борту я не различал. «К дьяволу!» — сказал Гез. Матрос, двигая фонарем, яркое пятно которого создавало в шлюпке странный уют, держался за борт, ожидая, когда меня спустят вниз. Наконец, шлюпка двинулась и встряхнулась на поддавшей ровной волне. Стало качать. Матрос отцепил тали и исчез, карабкаясь по ним вверх.

Все было кончено. Волны уже отнесли шлюпку от корабля так, что я видел, как бы через мостовую, ряд круглых освещенных окон низкого дома.

Глава XVII

Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть, с невольным и бесцельным ожиданием. Вдруг на палубе раздались возгласы, крики, спор и шум — так внезапно и громко, что я не разобрал, в чем дело. Наконец послышался требовательный женский голос, проговоривший резко и холодно:

— Это мое дело, капитан Гез. Довольно, что я так хочу!

Все дальнейшее, что я услышал, звучало изумлением и яростью. Гез крикнул:

— Эй, вы, на шлюпке! Забирайте ее! — Он прибавил, обращаясь неизвестно к кому: — Не знаю, где он ее прятал!

Второе его обращение ко мне было, как и первое, без имени:

— Эй, вы, на шлюпке!

Я не удостоил его ответом.

— Скажите ему сами, черт побери! — крикнул Гез.

— Гарвей! — раздался свежий, как будто бы знакомый голос неизвестной и невидимой женщины.— Подайте шлюпку к трапу, он будет спущен сейчас. Я еду с вами.

Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть кто-нибудь из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни условиях. Трап стукнул: отвалясь и наискось упав вниз, он коснулся воды. Я подвинул шлюпку и ухватился за трап, всматриваясь наверх до боли в глазах, но не различая фигур.

— Забирайте вашу подругу,— сказал Гез.— Вы, я вижу, ловкач.

— Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! — воскликнул Синкрайт.

Шагов я не слышал. Внизу трапа появилась стройная, закутанная фигура, махнула рукой и перескочила в шлюпку точным движением. Внизу было светлее, чем смотреть вверх, на палубу. Пристально взглянув на меня, женщина нервно двинула руками под скрывавшим ее плащом и села на скамейку рядом с той, которую занимал я. Ее лица, скрытого кружевной отделкой темного покрывала, я не видел, лишь поймал блеск черных глаз. Она отвернулась, смотря на корабль. Я все еще удерживался за трап.

— Как это произошло? — спросил я, теряясь от изумления.

— Какая наглость! — сказал Гез сверху.— Плывите, куда хотите, и от души желаю вам накормить акул!

— Убийца! — закричал я.— Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб!

— Он получит пулю,— спокойно, почти рассеянно сказала неизвестная женщина, и я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить,— особенно эти беспечные, твердые глаза.

— Прочь от корабля! — сказала она вдруг и повернулась ко мне.— Оттолкните его веслом.

Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Град насмешек полетел с палубы. Они были слишком гнусны, чтобы их повторять здесь. Голоса и корабельные огни отдалились. Я машинально греб, смотря, как судно, установив паруса,

взяло ход. Скоро его огни уменьшились, напоминая ряд искр.

Ветер дул в спину. По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы с светящимся циферблатом, я увидел именно без пяти минут четыре. Ровное волнение не представляло опасности. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно, так как из разговоров на «Бегущей» можно было понять, что эта часть океана между Гарибой и полуостровом весьма судоходна. Но больше всего меня занимал теперь вопрос, кто и почему сел со мной в эту дикую ночь.

Между тем стало если не светлеть, то яснее видно. Волны отсвечивали темным стеклом. Уж я хотел обратиться с целым рядом естественных и законных опросов, как женщина спросила:

— Что вы теперь чувствуете, Гарвей?

— Вы меня знаете?

— Я знаю, как вас зовут; скажу вам и свое имя: Фрези Грант.

— Скорее мне следовало бы спросить вас,— сказал я, снова удивясь ее спокойному тону,— да, именно спросить, как чувствуете себя вы — после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана? Я был потрясен; теперь я, к этому, еще оглушен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?

— Насильно?! — сказала она, тихо и лукаво смеясь.— О нет, нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.

— Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.

— О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?

Предполагая, что она взволнована, хотя удивительно владеет собой, я спросил, не выпьет ли она немного вина, которое у меня было в баулах,— чтобы укрепить нервы.

— Нет,— сказала она.— Я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта, непрошеная, сидит с вами. Здесь есть фонарь.

Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза

фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света.

Пока она это делала, я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Тени, колеблясь, перебежали к лодке. Тогда Фрези Грант захлопнула крышку фонаря, поставила его между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание,— большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блестел жемчуг гребней. Кружевное платье, оттенка слоновой кости, с открытыми, гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура.

Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснения. Все перелетело, изменилось во мне, и хотя чувства правильно отвечали действию, их острота превозмогла всякую мысль. Я слышал стук своего сердца в груди, шее, висках; оно стучало все быстрее и тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх; он рванул и исчез.

— Не бойтесь,— сказала она. Голос ее изменился, он стал мне знаком, и я вспомнил, *когда* слышал его.— Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гель-Гью, и, как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами,— кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сениэль, и вы встретите ее, но помните, *что ей нельзя сказать обо мне*. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко.

— Ночь темна,— сказал я, с трудом поднимая взгляд, так как утомился смотреть.— Волны — одни волны кругом!

Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала ее рука.

— Для меня там,— был тихий ответ,— одни волны, и среди них один остров; он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу; я увижу его с рассветом. Прощайте! Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?

— Что мне сказать вам? — ответил я.— Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?

— О,— сказала она печально,— не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.

Пламя свечи сияло; так был резок его блеск, что я снова отвел глаза. Я увидел черные плавники, пересекающие волну, подобно буям; их хищные движения вокруг шлюпки, их беспокойное снование взад и вперед отдавало угрозой.

— Кто это? — сказал я.— Кто эти чудовища вокруг нас?

— Не обращайте внимания и не бойтесь за меня,— ответила она.— Кто бы ни были они в своей жадной надежде, ни тронуть меня, ни повредить мне они больше не могут.

В то время как она говорила это, я поднял глаза.

— Фрези Грант! — вскричал я с тоской, потому что жалость охватила меня.— Назад!..

Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относило волной. Она отступала, полуоборотясь ко мне, и, приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась.

Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь,— совсем как девушка в темной, огромной зале.

И тотчас дьявольские плавники акул или других мертвящих нервы созданий, которые показывались, как прорыв снизу черным резцом, повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрези Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.

Я был один; покачивался среди волн и смотрел на фонарь; свеча его догорала.

Хор мыслей пролетел и утих. Прошло некоторое время, в течение которого я сознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками. Иногда я старался понять, вспомнить — с кем и когда сидела в лодке молодая женщина в кружевном платье.

Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Неясно стал виден простор волн; вдали над ними тронулась светлая лавина востока, устремив яркие копья наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть; теплый ветер боролся со свежестью; наконец утренние лучи согнали призрачный мир рассвета и начался день.

Теперь не было у меня уже той живой связи с ночной сценой, как в момент действия, и каждая следующая минута несла новое расстояние,— как между поездом и сверкнувшим в его окне прелестным пейзажем, летящим,— едва возник,— прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько дней, и я только помнил. Впечатление было разорвано собственной своей силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Тогда я не был способен правильно судить о своем состоянии. Оно прошло сложный, трудный путь, не повторимый ни при каком возбуждении мысли. Я был один в шлюпке, греб на юг и, задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, как будто ожидал действительно заметить след маленьких ног Фрези Грант.

Я захотел пить и, так как бочонок для воды оказался пуст, осушил бутылку вина. На этот раз оно не произвело обыкновенного действия. Мое состояние было ни нормально, ни эксцессивно — особое состояние, которое не с чем сравнить,— разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт.

В одиннадцать двадцать утра на горизонте показались косые паруса с кливерами, стало быть, небольшое судно, шедшее, как указывало положение парусов, к юго-западу, при половинном ветре. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что, взяв под нижний угол к линии его курса, могу встретить его не позднее чем через три-

дцать-сорок минут. Судно было изрядно нагружено, шло ровно, с небольшим креном.

Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил. На расстоянии далеко хватающего крика я мог уже различить без бинокля несколько человек, всматривающихся в мою сторону. Один из них смотрел в зрительную трубу, причем схватил за плечо своего соседа, указывая ему на меня движением трубы. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным; лишь начав различать лица, я встрепенулся, поняв свое положение. Судно легло в дрейф, готовясь меня принять; я был от него на расстоянии десяти минут поспешной гребли. Подплывая, я увидел восемь человек, считая женщину, сидевшую на борту боком, держась за ванту, и понял по выражению лиц, что все они крайне изумлены.

Когда между мной и шхуной оказалось расстояние, незатруднительное для разговора, мне не пришлось начать первому. Едва я открыл рот, как с палубы закричали, чтобы я скорее подплывал. После того, среди сочувственных восклицаний, на дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я продел его в носовое кольцо.

— Все потонули, кроме вас? — сказал долговязый шкипер, в то время как я ступал на спущенный веревочный трап.

— Сколько дней в море? — спросил матрос.

— Не набрасывайтесь на пищу! — испуганно заявила женщина. Она оказалась молодой девушкой; ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый, голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением.

Я ответил, когда ступил на палубу, причем случайно пошатнулся и был немедленно подхвачен.

— Мой случай — совершенно особый,— сказал я.— Позвольте мне сесть.— Я сел на быстро подставленное опрокинутое ведро.— Куда вы плывете?

— Он не так слаб! — заметил шкипер.

— Мы держим в Гель-Гью,— сообщил одинокий голубой глаз.— Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.

Я осмотрел этих славных людей. Они переживали событие. Лишь спустя некоторое время они освоились с моим присутствием, сильно их волновавшим, и мы начали объясняться.

Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гель-Гью из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финеас Проктор, имел шесть человек команды; шестой из них был помощник Проктора, Нэд Тоббоган, на редкость неразговорчивый человек лет под тридцать, красивый и смуглый. Девушка с завязанным глазом была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Тоббогану, ее признанному жениху; как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Тоббогана обвенчаться с Дэзи в Гель-Гью. Словом, причины ясные и благие. По случаю присутствия женщины, хотя бы и родственницы, Проктор сохранил в кармане жалованье повара, рассчитав его под благовидным предлогом; пищу варила Дэзи. Сказав это, я возвращаюсь к прерванному рассказу.

Пока я объяснялся с командой шхуны, моя шлюпка была подведена к корме, взята на тали и поставлена рядом с шлюпкой «Нырка». Мой багаж уже лежал на палубе, у моих ног. Меж тем паруса взяли ветер, и шхуна пошла своим путем.

— Ну,— сказал Проктор, едва установилось подобие внутреннего равновесия у всех нас,— выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.

— Это — история, которая вас удивит,— ответил я после того, как выразил свою благодарность, крепко пожав его руку.—Меня зовут Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гель-Гью, на судне «Бегущая по волнам» под командой капитана Геза и был ссажен им вчера вечером на шлюпку, после крупной ссоры.

В моем положении следовало быть откровенным, не касаясь внутренних сторон дела. Таким образом, все предстало в естественном и простом виде: я сел за плату (не называя цифры, я намекнул, что она была прилична и уплачена своевременно). Я должен был также сочинить цель, с какой пустился в этот рейс, чтобы быть правдивым для наступившего положения. В другом месте и другому человеку мне пришлось рассказать истину, когда я думал, что... Словом, экипаж «Нырка» только изредка набивал трубки, чтобы воодушевленней следить за моим

рассказом. Мне поверили, потому что я не скрывал *той* правды, какую ждали они.

У меня (так я объяснил) было желание познакомиться с торговой практикой парусного судна, а также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии. Выдумка имела успех. Проктор, длинный, полуседой человек, с спокойным мускулисто-гладким лицом, тотчас сказал:

— Вот это правильная была мысль. Я всегда говорил, что, сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.

Остальное в моем рассказе не требовало искажения, отчего характер Геза, после того как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.

— Его надо было просто убить,— сказал Проктор.— И вы не отвечали бы за это.

— Он не успел...— заметил один матрос.

— Никогда бы я не сошел в шлюпку; только силой,— продолжал Проктор.

— Он был один,— вмешалась стоявшая тут же Дэзи. Платок мешал ей смотреть, и она вертела головкой.— А ты, Тоббоган, разве остался бы насильно?

— Это сказал дядя,— возразил Тоббоган.

— Ну, хотя бы и дядя.

— Что с тобой, Дэзи? — спросил Проктор.— Экая у тебя прыть в чужом деле!

— Вы правильно поступили,— обратилась она ко мне.— Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал!

Она взяла из рассеянной руки Проктора бутылку, которую, в увлечении всей этой историей, шкипер держал между колен, и налила половину жестяной кружки, долив водой. Я поблагодарил, заметив, что не болен от изнурения.

— Ну, все-таки,— заметила она критическим тоном, означавшим, что мое положение требует обряда.— И вам будет лучше.

Я выпил, сколько мог.

— О, это не по-нашему! — сказал Проктор, опрокидывая остаток в рот.

Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, тре-

петного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взглядывает на нее Тоббоган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество, из снисхождения научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. Тоббоган был серьезный человек с правильным, мужественным лицом задумчивого склада. Его движения несколько противоречили его внешности; так, например, он делал жесты к себе, а не от себя, и когда сидел, то имел привычку охватывать колени руками. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Четыре матроса «Нырка» были пожилые люди хозяйственного и тихого поведения; в свободное время один из них крошил листовой табак или пришивал к куртке отпоровшийся воротник; другой писал письмо, третий устраивал в широкой бутылке пейзаж из песка и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками. Пятый, моложе их и более живой, чем остальные, часто играл в карты сам с собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Больт. Я все это подметил, так как провел на шхуне три дня, и мой первый день окончился глубоким сном внезапно приступившей усталости. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа.

Пока я курил и думал, пришел Тоббоган. Он обратился ко мне, сказав, что Проктор просит меня зайти к нему в каюту, если я сносно себя чувствую. Я вышел. Волнение стало заметно сильнее к ночи. Шхуна, прилегая с размаха, поскрипывала на перевалах. Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за Тоббоганом в каюту Проктора. Это было чистое помещение сурового типа и так невелико, что между столом и койкой мог поместиться только мат для вытирания ног. Каюта была основательно прокурена.

Тоббоган вошел со мной; затем он открыл дверь и исчез, надо быть, по своим делам, так как послышался где-то вблизи его разговор с Дэзи. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике: на столе был па-

резанный, на опрятной тарелке, копченый язык и стояла бутылка. Шкипер не обманул меня тем, что начал с торговли, сказав: «Не слышали ли вы что-нибудь относительно хлопковых семян?» Затем Проктор перешел к самому интересному: разговору снова о моей истории. Теперь он выражался тщательнее, чем утром, метя, очевидно, на должную оценку с моей стороны.

— Нам надо сговориться,— сказал Проктор,— как действовать против капитана Геза. Я — свидетель, я подобрал вас, и, хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. Как вы говорили, что «Бегущая по волнам» идет в Гель-Гью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, если даже, протрезвясь, струсит. У него нет оснований думать, что вы попадете на мою шхуну. В таком случае надо условиться, что вы дадите мне знать, если разбирательство дела произойдет, когда «Нырок» уже покинет Гель-Гью. Это — уголовное дело.

Он стал соображать вслух, рассчитывая дни, и, так как из этого ничего не вышло, потому что трудно предусмотреть случайности, я предложил ему говорить об этом в Гель-Гью.

— Ну, вот, это еще лучше,— сказал Проктор.— Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не ссаживали по крайней мере — как на сушу — за сто миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гез — конченный человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если мог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы — как новорожденный и примете морское крещение. Удивляюсь вам,— заметил он, наливая в стаканы.— Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы подымаетесь на «Нырок», как в собственную квартиру! Хорошо иметь крепкие нервы. А то...

Он поставил стакан и пристально посмотрел на меня.

— Слушаю вас,— сказал я.— Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.

— Вы видели девушку,— сказал Проктор.— Конечно, нельзя подумать ничего, за что... Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.

Он не смутился и, как я правильно понял, считал неприятной необходимостью затронуть этот вопрос после истории с компанией Геза. Потому я ответил немедленно.

— Славная девушка; она, может быть, ваша дочь?

— Почти что дочь, если она не брыкается,— сказал Проктор.— Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне — это значит править двумя рулями, но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Тоббоган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них; и меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно; с этим ничего не поделаешь.

Я спросил, почему ему не нравится Тоббоган.

— Я сам себя спрашивал,— отвечал Проктор,— и, простите за откровенность, в семейных делах, для вас, конечно, скучных. Но иногда... гм... хочется поговорить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой, а если она скажет: «Тоббоган, влезь на мачту и спустись головой вниз»,— то он это немедленно сделает в любую погоду. По-моему, нужен ей другой муж. Это между прочим, а все пусть идет, как идет.

К тому времени ром в бутылке стал на уровне ярлыка, и оттого казалось, что качка усилилась. Я двигался вместе со стулом и каютой, как на качелях, иногда расставляя ноги, чтобы не свернуться в пустоту. Вдруг дверь открылась, пропустив Дэзи, которая, казалось, упала к нам сквозь наклонившуюся на меня стену, но, поймав рукой стол, остановилась в позе канатоходца. Она была в башмаках, с брошкой на серой блузе и в черной юбке. Ее повязка лежала аккуратнее, ровно зачеркивая левую часть лица.

— Тоббоган просил вам передать,— сказала Дэзи, тотчас же вперяя в меня одинокий голубой глаз,— что он постоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.— Затем она просияла и улыбнулась.

— Вот это хорошо,— ответил Проктор,— а я уж думал, что она ссадит меня, благо есть теперь запасная шлюпка.

— Итак, вы очутились у нас,— молвила Дэзи, смотря на меня с стеснением.— Как подумаешь, чего только не случается в море!

— Случается также,— начал Проктор и, обождав, когда из бесконечного запаса улыбок на лице девушки распустилась новая, выжидательная, закончил: — Случается, что *она* уходит, а они остаются.

Дэзи смутилась. Ее улыбка стала исчезать, и я, понимая, как, должно быть, ей любопытно остаться, сказал:

— Если вы имеете в виду только меня, то, кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.

Заметно довольный моим ответом, Проктор сказал:

— Присядь, если хочешь.

Она села у двери в ногах койки и прижала руку к повязке.

— Все еще болит,— сказала Дэзи.— Такая досада! Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.

Нельзя было не спросить, и я спросил, чем поврежден глаз.

— Ей надуло,— ответил за нее Проктор.— Но нет ничего такого вроде лекарства.

— Не верьте ему,— возразила Дэзи.— Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей...

Я недоверчиво улыбнулся.

— Нет,— сказала она,— никто не дрался. Просто от угля, я засорила глаз углем.

Я посоветовал примачивать крепким чаем.

Она подробно расспросила, как это делают.

— Хотя один глаз, но я первая вас увидела,— сказала Дэзи.— Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай,— прибавила она, вставая.— Я пойду и сделаю, как вы научили. Дать вам еще бутылку?

— Н-нет,— сказал Проктор и посмотрел на меня сложно, как бы ожидая повода сказать «да». Я не хотел пить, поэтому промолчал.

— Да, не надо,— сказал Проктор уверенно.— И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего три. Так вот, она первая увидела вас, и, когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.

Разговор еще несколько раз возвращался к моей истории, затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал. Проктор проводил меня в кубрик.

— Мы не можем предложить вам лучшего помещения,— сказал он.— У нас тесно. Потерпите как-нибудь, немного уже осталось плыть до Гель-Гью. Мы будем, думаю я, вечером послезавтра или же к вечеру.

В кубрике было двое матросов. Один спал, другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек. Засыпая, я слышал, как он напевает низким, густым голосом:

Волна бесконечна;
Всю землю обходит она,
Не зная беспечно
Ни неба, ни дна!

Глава XIX

Утром ветер утих, но оставался попутным, при ясном небе; «Нырок» делал одиннадцать узлов в час на ровной килевой качке. Я встал с тихой душой и, умываясь на палубе из ведра, чувствовал запах моря. Высунувшись из кормового люка, Тоббоган махнул рукой, крикнув:

— Идите сюда, ваш кофе готов!

Я оделся и, проходя мимо кухни, увидел Дэзи, которая, засучив рукава, жарила рыбу. Повязка отсутствовала, а от опухоли, как она сообщила, осталось легкое утолщение внутри нижнего века.

— Я вся отсырела,— сказала Дэзи,— так я усердно лечилась чаем!

Выразив удовольствие, что случайно дал полезный совет, я спустился в небольшую каюту с маленьким окном в стене кормы, служившую столовой, и сел на скамью к деревянному простому столу, где уже сидел Тоббоган. Он смотрел на меня с приязнью и несколько раз откашлялся, но не находил слов или не считал нужным говорить, а потому молчал, изредка оглядываясь. По-видимому, он ждал рыбу или невесту, вернее — то и другое. Я спросил, что делает Проктор. «Он спит»,— сказал Тоббоган; затем начал сгребать крошки со стола ребром ладони и оглянулся опять, так как послышалось шипение. Дэзи внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой. Неожиданно Тоббоган обрел дар слова. Он стал хвалить рыбу и спросил, почему девушка — босиком.

— В прошлый раз она наступила на гвоздь,— сказал Тоббоган, подвигая мне сковороду и начиная есть

сам.— Она, знаете, неосторожна: как-то чуть не упала за борт.

— Мне нравится ходить босиком,— отвечала Дэзи, наливая нам кофе в толстые стеклянные стаканы; потом села и продолжала: — Мы плыли по месту, где пять миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это глубоко...

— К северу от Покета,— сказал Тоббоган.

— Вот именно, там. Вдруг закружилась голова, и я повисла; меня тянет упасть. Тоббоган зверски схватил меня и поволок, как канат. Ты был очень бледен, Тоббоган, в эту минуту!

Он посмотрел на нее; голод здоровяка и нежность влюбленного образовали на его лице нервную тень.

— Упасть недолго,— сказал он.

— Вам было страшно на лодке? — спросила меня девушка, постукивая ножом.

— Положи нож,— сказал с беспокойством Тоббоган.— Если упадет на ногу, будешь опять скакать на одной ноге.

— Ты несносен сегодня,— заметила Дэзи, улыбаясь и демонстративно втыкая нож возле его локтя. Воткнувшись, нож задрожал, как бы стремясь вырваться.— Вот так ты трепещешь! У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.

Я пообещал, думая, что разыщу подходящее для нее чтение. «Кроме того,— сказал я, желая сделать приятное человеку, заметившему меня среди моря одним глазом,— я ожидаю в Гель-Гью присылки книг, и вы сможете взять несколько новых романов». На самом деле я солгал, рассчитывая купить ей несколько томов по своему выбору.

Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Это у нее вышло удачно: в каюте разлился голубой свет. Тоббоган стал смущенно благодарить, и я видел, что он искренне рад невинному удовольствию девушки.

Глава XX

День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале; при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, забывая о часах, видишь, что подан обед,

а там набегает ночь. После обеда, то есть картофеля с солониной, компота и кофе, я увидел карты и предложил Тоббогану сыграть в покер. У меня была цель: отдать десять-двадцать фунтов, но так, чтобы это считалось выигрышем. Эти люди, конечно, отказались бы взять деньги, я же не хотел уйти, не оставив им некоторую сумму из чувства благодарности. По случайным, отдельным словам можно было догадаться, что дела Проктора не блестящи.

Когда я сделал такое предложение, Дэзи превратилась в вопросительный знак, а Проктор, взяв карты, отбросил их со вздохом и заявил:

— Эта проклятая картонная шайка дорого стоила мне в свое время, а потому дал я клятву и сдержу ее — не играть даже впустую.

Меж тем Тоббоган согласился сыграть — из вежливости, как я думал, но, когда оба мы выложили на стол по нескольку золотых, его глаза выдали игрока.

— Играйте,— сказала Дэзи, упирая в стол белые локти с ямочками и положив меж ладоней лицо,— а я буду смотреть.— Так просидела она, затаив дыхание или разражаясь смехом при проигрыше одного из нас, все время. Как прикованный, сидел Проктор, забывая о своей трубке; лишь по его нервному дыханию можно было судить, что старая игрецкая жила ходит в нем подобно тугой лесе. Наконец он ушел, так как били его вахтенные часы.

Таким образом, я погрузился в бой, обнажив грудь и сломав конец свой шпаги. Я мог безнаказанно мошенничать против себя, потому что идея нарочитого проигрыша меньше всего могла прийти в голову Тоббогану. Когда играют двое, покер весьма часто дает крупные комбинации. Мне ничего не стоило бросать свои карты, заявляя, что проиграл, если Тоббоган объявлял значительную для него сумму. Иногда, если мои карты действительно оказывались слабее, я открывал их, чтоб не возникло подозрений. Мы начали играть с мелочи. Тут Тоббоган оказался словоохотлив. Он смеялся, разговаривал сам с собой; выигрывая, критиковал мою тактику. По моей милости ему везло, отчего он приходил во все большее возбуждение. Уже восемнадцать фунтов лежало перед ним, и я соразмерял обстоятельства, чтобы устроить ровно двадцать. Как вдруг, при новой моей сдаче, он сбросил все карты, прикупил новых пять и объявил двадцать фунтов.

Как ни была крупна его карта или просто решимость пугнуть, случилось, что моя сдача себе составила пять червей необыкновенной красоты: десятка, валет, дама, король и туз. С этакой-то картой я должен был платить ему свой собственный по существу выигрыш!

— Идет,— сказал я.— Открывайте карты.

Трясущейся рукой Тоббоган выложил карре и посмотрел на меня, ослепленный удачей. Каково было бы ему видеть моих червей! Я бросил карты вверх крапом и подвинул ему горсть золотых монет.

— Здорово я вас обчистил! — вскричал Тоббоган, сжимая деньги.

Случайно взглянув на Дэзи, я увидел, что она смешивает брошенные мной карты с остальной колодой. С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась.

— Что у него было? — спросил Тоббоган.

— Три дамы, две девятки,— сказала девушка.— Сколько ты выиграл, Тоббоган?

— Тридцать восемь фунтов,— сказал Тоббоган, хохоча.— А ведь я думал, что у вас тоже карре!

— Верни деньги.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать,— ответил Тоббоган.— Но, если вы желаете...

— Мое желание совершенно обратное,— сказал я.— Дэзи не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит, и мне.

— Вот видишь,— заметил Тоббоган с облегчением,— а потому удержи язык.

Дэзи загадочно рассмеялась.

— Вы плохо играете,— с сердцем объявила она, смотря на меня трогательно гневным взглядом, на что я мог только сказать:

— Простите, в следующий раз сыграю лучше.

Должно быть, ответ был для нее очень забавен, так как она уже искренне и звонко расхохоталась. Шутливо, но так, что можно было понять, о чем прошу, я сказал:

— Не говорите никому, Дэзи, как я плохо играю, потому что, говорят, если сказать,— всю жизнь игрок будет только платить.

Ничего не понимая, Тоббоган, все еще в огне выигрыша, сказал:

— Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно!

— Так и быть,— ответила девушка,— скажу всем то же и я.

Я был чрезвычайно смущен, хотя скрывал это, и ушел под предлогом выбора для Дэзи книги. Разыскав два романа, я передал их матросу с просьбой отнести девушке.

Остаток дня я провел наверху, сидя среди канатов. Около кухни появлялась и исчезала Дэзи; она стирала.

«Нырок» шел теперь при среднем ветре и умеренной качке. Я сидел и смотрел на море.

Кто сказал, что «море без берегов — скучное, однообразное зрелище»? Это сказал *многий*, лишенный имени. Нет берегов — правда, но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Строгая чистота круга, полного одних волн, подробно ясных вблизи; на отдалении они скрываются одна за другой; на горизонте же лишь едва трогают отчетливую линию неба, как если смотреть туда в неправильное стекло. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую, постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.

Услышав шаги, я обернулся и увидел Дэзи, подходившую ко мне с стесненным лицом, но она тотчас же улыбнулась и, пристально всмотревшись в меня, села на канат.

— Нам надо поговорить,— сказала Дэзи, опустив руку в карман передника.

Хотя я догадывался, в чем дело, однако притворился, что не понимаю. Я спросил:

— Что-нибудь серьезное?

Она взяла мою руку, вспыхнула и сунула в нее,— так быстро, что я не успел сообразить ее намерение,— тяжелый сверток. Я развернул его. Это были деньги,— те тридцать восемь фунтов, которые я проиграл Тоббогану. Дэзи вскочила и хотела убежать, но я ее удержал. Я чувствовал себя весьма глупо и хотел, чтобы она успокоилась.

— Вот это весь разговор,— сказала она, покорно возвращаясь на свой канат. В ее глазах блестели слезы смущения, на которое она досадовала сама.— Спрячьте

деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Вы мне испортили весь день. Прежде всего, как я могла объяснить Тоббогану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует возвратить.

— Милая Дэзи,— сказал я, тронутый ее гордостью,— если я виноват, то, конечно, только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательства,— как бы вы тогда отнеслись?

— Никак, разумеется; проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы очень огорчена. Вы думаете — я не понимаю, что вы хотели? Оттого, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы делать вам выговор. Теперь поняли?

— Отлично понял. Как вам понравились книги?

Она помолчала, еще не в силах сразу перейти на мирные рельсы.

— Заглавия интересные. Я посмотрела только заглавия — все было некогда. Вечером сяду и почитаю. Вы меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.

— Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.

— Тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор...

— Говорите сейчас, иначе вы раздумаете.

— Нет, это я не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю: угадала или не угадала? При случае поговорим. Надо вас покормить, а у меня еще не готово, приходите через полчаса.

Она поднялась, кивнула и поспешила к себе на кухню или еще в другое место, связанное с ее деловым днем.

Сцена эта заставила меня устыдиться; девушка показала себя настоящей хозяйкой, тогда как,— надо признаться,— я вознамерился сыграть роль хозяина. Но что она хотела *еще* подвергнуть обсуждению? Я мало думал и скоро забыл об этом; как стемнело, все сели ужинать, по случаю духоты, наверху, перед кухней. Тоббоган встретил меня немного сухо, но, так как о происшествии с картами все молчаливо условились не поднимать разговора, то скоро отошел; лишь иногда взглядывал на

меня задумчиво, как бы говоря: «Она права, но от денег трудно отказаться, черт побери». Проктор, однако, обращался ко мне с усиленным радушием, и если он знал что-нибудь от Дэзи, то ему был, верно, приятен ее поступок; он на что-то хотел намекнуть, сказав: «Человек предполагает, а Дэзи располагает!» Так как в это время люди ели, а девушка убирала и подавала, то один матрос заметил:

— Я предполагал бы, понимаете, съесть индейку. А она расположила солонину.

— Молчи,— ответил другой,— завтра я поведу тебя в ресторан.

На «Нырке» питались однообразно, как питаются вообще на небольших парусниках, которым за десять-двадцать дней плавания негде достать свежей провизии и негде хранить ее. Консервы, солонина, макароны, компот и кофе — больше есть было нечего, но все поглощалось огромными порциями. В знак душевного мира, а может быть, и различных надежд, какие чаще бывают мухами, чем пчелами, Проктор налил всем по стакану рома. Солнце давно село. Нам светила керосиновая лампа, поставленная на крыше кухни.

Баковый матрос закричал:

— Слева огонь!

Проктор пошел к рулю. Я увидел впереди «Нырка» многочисленные огни огромного парохода. Он прошел так близко, что слышен был стук винтового вала. В пространствах под палубами, среди света, сидели и расхаживали пассажиры. Эта трехтрубная высокая громада, когда мы разминулись с ней, отошла, поворотившись кормой, усеянной огненными отверстиями, и рассекала колеблющуюся, озаренную пелену пены.

«Нырок» сделал маневр, отчего при парусах заняты были все, а я и Дэзи стояли, наблюдая удаление парохода.

— Вам следовало бы попасть на такой пароход,— сказала девушка.— Там так отлично. Все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка.

— Вы любите танцы?

— Люблю конфеты и танцы.

В это время подошел Тоббоган и встал сзади, засунув руки в карманы.

— Лучше бы ты научила меня,— сказал он,— как танцевать.

— Это ты так *теперь* говоришь. Ты не можешь: уже я учила тебя.

— Не знаю, отчего,— согласился Тоббоган,— но когда держу девушку за талию, а музыка вдруг раздастся, ноги делаются, точно мешки. Стóю: ни взад ни вперед.

Постепенно собрались опять все, но ужин был кончен, и разговор начался о пароходе, в котором Проктор узнал «Лео».

— Он из Австралии; это рейсовый пароход Тихоокеанской компании. В нем двадцать тысяч тонн.

— Я говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас,— сказала Дзэи.

— Я рад, что попал к вам,— возразил я,— хотя бы уж потому, что мне с тем пароходом не по пути.

Проктор рассказал случай, когда пароход не остановился принять с шлюпки потерпевших крушение. Отсюда пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Создалось словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути.

Но, как ни искушены были эти моряки в историях о плавающих бутылках, встречаемых ночью ледяных горах, бунтах экипажей и потрясающих шквалах, я увидел, что им неизвестна история «Марии Целесты», а также пятимесячное блуждание в шлюпке шести человек, о котором писал М. Твен, положив тем начало своей известности.

Как только я кончил говорить о «Целесте», богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками.

Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать.

— Но может ли быть,— говорила она,— что это произошло так...

— Люди думали пятьдесят лет,— возражал Проктор, но кто бы ни возражал, в ответ слышалось одно:

— Не перебивайте меня! Вы понимаете: обед стоял на столе, в кухне топилась плита! Я говорю, что на них напала болезнь! Или, может быть, не болезнь, а они увидели мираж! Красивый берег, остров или снежные горы! Они поехали на него все...

— А дети? — сказал Проктор.— Разве не оставила бы ты детей да при них, скажем, ну, хотя двух матросов?

— Ну, что же! — Она не смущалась ничем.— Дети хотели больше всего. Пусть мне объяснят в таком случае!

Она сидела, подобрав ноги, и, упираясь руками в палубу, ползала от возбуждения взад-вперед.

— Раз ничего не известно, понимаешь? — ответил Тоббоган.

— Если не чума и мираж,— объявила Дэзи без малейшего смущения,— значит, в подводной части была дыра. Ну да, вы заткнули ее языком; хорошо. Представьте, что они хотели сделать загадку...

Среди ее бесчисленных версий, которыми она сыпала без конца, так что я многие позабыл, слова о «загадке» показались мне интересны; я попросил объяснить.

— Понимаете — они ушли,— сказала Дэзи, махнув рукой, чтобы показать, как ушли,— а зачем это было нужно, вы видите по себе. Как вы ни думаете, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете. Так вот,— они сделали это нарочно. Среди них, верно, был такой человек, который, может быть, любил придумывать штуки. Это — капитан. «Пусть о нас останется память, легенда, и никогда чтобы ее не объяснить никому!» Так он сказал. По пути попалось им судно. Они сговорились с ним, чтобы пересесть на него, и пересели, а свое бросили.

— А дальше? — сказал я после того, как все уставились на девушку, ничего не понимая.

— Дальше не знаю.— Она засмеялась с усталым видом, вдруг остыв, и слегка хлопнула себя по щекам, наивно раскрыв рот.

— Все знала, а теперь вдруг забыла,— сказал Проктор.— Никто тебя не понял, что ты хотела сказать.

— Мне все равно,— объявила Дэзи.— Но вы — поняли?

Я сказал «да» и прибавил:

— Случай этот так поразителен, что всякое объяснение, как бы оно ни было правдоподобно, остается бездоказательным.

— Темная история,— сказал Проктор.— Слышал я много басен, да и теперь еще люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрези Грант?

— Нет,— сказал я, вздрогнув от неожиданности.

— Нет?

— Нет? — подхватила Дэзи тоном выше.— Давайте расскажем Гарвею о Фрези Грант. Ну, Больт,— обратилась она к матросу, стоявшему у борта,— это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказать, как ты, историю Фрези Грант. Сколько раз ты ее рассказывал?

— Тысячу пятьсот два,— сказал Больт, крепкий человек с черными глазами и ироническим ртом, спрятанным в курчавой бороде скифа.

— Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, мы сидим в обществе, в гостиной, у нас гости. Смотри отличись.

Пока длилось это вступление, я заставил себя слушать как посторонний, не знающий ничего.

Больт сел на складной стул. У него были приемы рассказчика, который ценит себя. Он прочесал бороду пятерней вверх, открыл рот, слегка свесив язык, обвел всех присутствующих взглядом, провел огромной ладонью по лицу вниз, крякнул и подсел ближе.

— Лет сто пятьдесят назад,— сказал Больт,— из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант, и с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Надо вам сказать, что Фрези была обручена с одним джентльменом, который года два уже служил в Индии и занимал важную должность. Какая была должность,— стоит ли говорить? Если вы скажете — «стоит», вы проиграли. Надо вам сказать, что, когда я раньше излагал эту знаменательную историю, Дэзи всячески старалась узнать, в какой должности был жених-джентльмен, и если не спрашивает теперь...

— То тебе нет до того никакого дела,— перебила Дэзи.— Если забыл, что дальше,— спроси меня, я тебе расскажу.

— Хорошо,— сказал Больт.— Обращаю внимание на то, что она сердится. Как бы то ни было, «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Шла она с быстротой бельевого катка. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают не бестолковые моряки, которые никогда не видали вала высотой метров сто. Однако ничего не случилось. «Адмирал Фосс» по-

полз вверх, стал на высоте колокольни святого Петра и пошел вниз так, что, когда опустился, быстрота его хода была тридцать миль в час. Само собою, что паруса успели убрать, иначе встречный, от движения, ветер перевернул бы фрегат волчком.

Волна прошла, ушла, и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; по пути «Фосса» не мог быть на этой широте остров. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нем не заметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты.

Капитан тотчас записал в корабельный журнал, что произошло, но к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов, а по берегу — отвес, без бухты и отмели. В то время как на мостике собралась толпа и толковала с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к острову — посмотреть, какая это земля. «Мисс,— сказал капитан,— я могу открыть Новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать, а так как возникло опасение быть застигнутыми штилем, то надобно спешить нам к югу, где есть воздушное течение».

Фрези Грант, хотя была доброй девушкой,— вот, скажем, как наша Дэзи... Обратите внимание, джентльмены, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрези. Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и, если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей.

— Слушайте! Слушайте! — вскричала Дэзи, подпирая подбородок рукой и расширяя глаза: — Сейчас начинается!

— Совершенно верно, Дэзи,— сказал Больт, обкусывая свой грязный ноготь.— Вот оно и началось, как это бывает у барышень. Иначе говоря, Фрези стояла, закусив губу. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки,— сказал он,— что, при желании, могли бы пробежать к острову

по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-вашему, сэр,— сказала она.— Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру». И вот, прежде чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, побледнела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрези.— Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!»

Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэзи, возьми платок и вытри глаза.

— Всегда плачу, когда доходит до этого места,— сказала Дэзи, сердито сморкаясь в вытащенный ею из кармана Тоббогана платок.

— Вот и вся история,— закончил Больт.— Что было на корабле потом, конечно, не интересно, а с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение,— между прочим; и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.

Больт не подозревал, что у него не было никогда такого внимательного слушателя, как я. Но это заметила Дэзи и сказала:

— Вы слушали, как кошка мышь. Не встретили ли вы ее, бедную Фрези Грант? Признайтесь!

Как ни был шутлив вопрос, все моряки немедленно повернули головы и стали смотреть мне в рот.

— Если это была та девушка,— сказал я естественно, не рискуя ничем,— девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете,— то, значит, это она и была.

— Однако! — воскликнул Проктор.— Что, Дэзи, вот тебе задача.

— Именно так она и была одета,— сказал Больт.— Вы раньше слышали эту сказку?

— Нет, я не слышал ее,— сказал я, охваченный порывом встать и уйти.— Но мне почему-то казалось, что это так.

На этом разговор кончился, и все разошлись. Я долго не мог заснуть: лежа в кубрике, прислушиваясь к плеску воды и храпу матросов, я уснул около четырех, когда вахта сменилась. В это утро все проспали несколько дольше, чем всегда. День прошел без происшествий, которые стоило бы отметить в их полном развитии. Мы шли при отличном ветре, так что Больт сказал мне:

— Мы решили, что вы нам принесли счастье. Честное слово. Еще не было за весь год такого ровного рейса.

С утра уже овладело мной нетерпение быть на берегу. Я знал, что этот день — последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней, как всегда бывает в конце пути. Кому не знаком зуд в спине? Чувство быстроты в неподвижных ногах? Расстояние получает враждебный оттенок. Существо наше усиливается придать скорость кораблю; мысль, множество раз побывав на воображаемом берегу, должна неохотно возвращаться в медлительно ползущее тело. Солнце всячески уклоняется подняться к зениту, а достигнув его, начинает опускаться со скоростью человека, старательно метущего лестницу.

После обеда, то уходя на палубу, то в кубрик, я увидел Дэзи, вышедшую из кухни вылить ведро с водой за борт.

— Вот, вы мне нужны,— сказала она, застенчиво улыбаясь, а затем стала серьезной.— Зайдите в кухню, как я вылью это ведро, у борта нам говорить неудобно, хотя, кроме глупостей, вы от меня ничего не услышите. Мы ведь не договорили вчера. Тоббоган не любит, когда я разговариваю с мужчинами, а он стоит у руля и делает вид, что закуривает.

Согласившись, я посидел на трюме, затем прошел в кухню за крылом паруса.

Дэзи сидела на табурете и сказала: «Сядьте», причем хлопнула по коленям руками. Я сел на бочонок и приготовился слушать.

— Хотя это невежливо,— сказала девушка,— но меня почему-то заботит, что я не все знаю. Не все вы рассказали нам о себе. Я вчера думала. Знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном

умолчали. А что это такое — *одно?* С вами в море что-то случилось. Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?

— О том, что вы не договорили вчера?

— Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно — никакого. Так вы и не отвечайте тогда.

— Дэзи,— сказал я, доверяясь ее наивному любопытству, обнаружить которое она могла, конечно, только по невозможности его укоротить, а также — ее проницательности,— вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что я не мог бы сказать так, сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, и сделаю это в Гель-Гью.

— Вас испугало что-нибудь? — сказала Дэзи и, помолчав, прибавила: — Не сердитесь на меня. На меня иногда *находит,* так, что все поражаются, я вот все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память, как о любопытной девчонке.

Я был тронут. Она подала мне обе руки, встряхнула мои и сказала:

— Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?

— А вы как думаете?

— Никак. Судно маленькое, довольно грязное, и никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?

— Чтобы у вас стали круглые глаза,— смеясь, ответил я ей.— Дэзи, есть у вас отец, мать?

— Были, конечно, как у всякого порядочного человека. Отца звали Ричард Бенсон. Он пропал без вести в Красном море. А моя мать простудилась насмерть лет пять назад. Зато у меня хороший дядя; кисловат, правда, но за меня пойдет в огонь и воду. У него нет больше племяшей. А вы верите, что была Фрези Грант?

— А вы?

— Это мне нравится! Вы, вы, вы! — верите или нет?! Я безусловно верю и скажу, почему.

— Я думаю, что это могло быть,— сказал я.

— Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: «Да, человека не понимают».

— Кто не понимает?

— Все. И он сам не понимает себя.

Разговор был прерван появлением матроса, пришедшего за огнем для трубки. «Скоро ваш отдых»,— сказал

он мне и стал копаться в углях. Я вышел, заметив, как пристально смотрела на меня девушка, когда я уходил. Что это было? Отчего так занимала ее история, одна половина которой лежала в тени дня, а другая — в свете ночи?

Перед прибытием в Гель-Гью я сидел с матросами и узнал от них, что никто из моих спасителей ранее в этом городе не был. В судьбе малых судов типа «Нырка» случаются одиссеи в тысячу и даже в две и три тысячи миль,— выход в большой свет. Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна». Проктор был владельцем «Нырка» и половины шхуны «Химена». После ареста капитана он сел править «Нырком» и взял фрахт в Гель-Гью, не смущаясь расстоянием, так как хотел поправить свои денежные обстоятельства.

Глава XXI

В десять часов вечера показался маячный огонь; мы подходили в Гель-Гью.

Я стоял у штирборта с Проктором и Больтом, наблюдая странное явление. По мере того как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман — обширный световой слой. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для сравнительно небольшого Гель-Гью, о котором я слышал, что в нем пятьдесят тысяч жителей. За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но не рассмотрел ничего, кроме построек, на мысе, и высказал предположение, не есть ли это отсвет большого пожара.

— Однако нет дыма,— сказала подошедшая Дэзи.— Вы видите, что свет чист; он почти прозрачен.

В тишине вечера я начал различать звук, неопределенный, как бормотание,— звук с припевом, с гулом труб, и я вдруг понял, что это музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как послышались далекие выстрелы, на что все тотчас обратили внимание.

— Стреляют и играют! — сказал Больт.— Стреляют довольно бойко.

В это время мы начали проходить маяк.

— Скоро узнаем, что оно значит,— сказал Проктор, отправляясь к рулю, чтобы ввести судно на рейд. Он сменил Тоббогана, который немедленно подошел к нам, тоже выражая удивление относительно яркого света и стрельбы.

Судно сделало поворот, причем паруса заслонили открывшуюся гавань. Все поспешили на бак, ничего не понимая, так были удивлены и восхищены развернувшимся зрелищем, острым и прекрасным во тьме, полной звезд.

Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. В воздухе висела яркая золотая сеть; сверкающие гирлянды, созвездия, огненные розы и шары электрических фонарей были, как крупный жемчуг среди золотых украшений. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Корабли рейда сияли, осыпанные белыми лучистыми точками. На барке, черной внизу, с освещенной, как при пожаре, палубой, вертелось, рассыпая искры, огненное алмазное колесо, и несколько ракет выбежали из-за крыш на черное небо, где, медленно завернув вниз, потухли, выронив зеленые и голубые падучие звезды. В то же время стала явственно слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один лишь стук барабана, а потом отпуская снова, и она отчетливо раздавалась по воде,— то, что называется: «играет в ушах». Играл не один оркестр, а два, три, может быть, больше, так как иногда наступало толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. С шлюпок звенели гитары; были слышны смех и крики.

— Вот так Гель-Гью,— сказал Тоббоган.— Какая нам, можно сказать, встреча!

Береговой отсвет был так силен, что я видел лицо Дэзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть увидеть всюду: едва ли замечала, с кем говорит, и была так возбуждена, что болтала, не переставая.

— Я никогда не видала таких вещей,— говорила она.— Как бы это узнать? Впрочем... О! о! о! Смотрите, еще ракета! И там; а вот — сразу две. Три! Четвертая! Ура! — вдруг закричала она, засмеялась, утерла влажные глаза и села с окаменелым лицом.

Фок упал. Мы подошли с приспущенным гротом, и «Нырок» бросил якорь вблизи железного буя, в кольцо которого был поспешно продет кормовой канат. Я бродил среди суматохи, встречая иногда Дэзи, которая появлялась у всех бортов, жадно оглядывая сверкающий рейд.

Все мы были в несколько приподнятом, припадочном состоянии.

— Сейчас решили,— сказала Дэзи, сталкиваясь со мной.— Все едем; останется один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть скорее на берег?

— Само собой!

— Ничего другого не остается,— сказал Проктор.— Конечно, все поедем немедленно. Если приходишь на темный рейд и слышишь, что бьет три склянки, ясно — торопиться некуда, но в таком деле и я играю ногами.

— Я умираю от любопытства! Я иду одеваться! А! О! — Дэзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту.— Кричите им! Давайте кричать! Эй! Эй! Эй!

Это относилось к большому катеру, на корме и носу которого развевались флаги, а борты и тент были увешаны цветными фонариками.

— Эй, на катере! — крикнул Больт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там веселой компанией, перестали грести.— Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать!

Катер подошел к «Нырку»; на нем кричали и хохотали.

Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло, мы ясно видели их, они — нас.

— Да это карнавал! — сказал я, отвечая возгласам Дэзи.— Они в масках; вы видите, что женщины в масках!

Действительно, часть мужчин представляла театральное сборище индейцев, маркизов, шутов; на женщинах были шелковые и атласные костюмы различных национальностей. Их полумаски, лукавые маленькие подбородки и обнаженные руки несли веселую маскарадную жуть.

На шлюпке встал человек, одетый в красный камзол с серебряными пуговицами и высокую шляпу, украшенную зеленым пером.

— Джентльмены! — сказал он, неистово скрежеща зубами, и, показав нож, потряс им.— Как смеете вы явиться сюда, подобно грязным трубочистам к ослепи-

тельным булочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно! Что вы хотите от нас?

— Скажите,— крикнула, смеясь и смущаясь, Дэи,— почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?

— Дети, откуда вы? — печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубыми помпонами.

— Мы из Риоля,— ответил Проктор.— Соблаговолите сказать что-либо дельное.

— Они действительно ничего не знают! — закричала женщина в полумаске.— У нас карнавал, понимаете?! Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите!

— Карнавал! — тихо и торжественно произнесла Дэзи.— Господи, прости и помилуй!

— Это карнавал, джентльмены,— повторил красный камзол. Он был в экстазе.— Нигде нет; только у нас, по случаю столетия основания города. Поняли? Девушка недурна. Давайте ее сюда, она споет и станцует. Бедняжка, как пылают ее глазенки! А что, вы не украли ее? Я вижу, что она намерена прокатиться.

— Нет, нет! — закричала Дэзи.

— Жаль, что нас разъединяет вода,— сказал Тоббоган,— я бы показал вам новую красивую маску!

— Вы что же, не понимаете карнавальных шуток? — спросил пьяный толстяк.— Ведь это шутка!

— Я... я... понимаю карнавальные шутки,— ответил Тоббоган нетвердо, после некоторого молчания,— но я понимаю еще, что слышал такие вещи, без всякого карнавала или как там оно называется.

— От души вас жалеем! — закричали женщины.— Так вы присматривайте за своей душечкой!

— На память! — вскричал красный камзол. Он размахнулся, и серпантинная лента длинной спиралью опустилась на руку Дэзи, схватившей ее с восторгом. Она повернулась, сжав в кулаке ленту, и залилась смехом.

Меж тем компания на шлюпке удалилась, осыпая нас причудливыми шуточными проклятиями и советуя поспешить на берег.

— Вот какое дело! — сказал Проктор, скребя лоб. Дэзи уже не было с нами.

— Конечно. Пошла одеваться,— заметил Больт.— А вы, Тоббоган?

— Я тоже поеду,— медленно сказал Тоббоган, размышляя о чем-то.— Надо ехать. Должно быть, весело; а уж ей будет совсем хорошо.

— Отправляйтесь,— решил Проктор,— а я с ребятами тоже посижу в баре. Надеюсь, вы с нами? Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на «Нырке», если хотите.

— Если будет надобность,— ответил я, не зная еще, что может быть,— я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я оставлю пока у вас.

— Располагайтесь как дома,— сказал Проктор.— Места хватит.

После того все весело и с нетерпением разошлись одеваться. Я понимал, что неожиданно создавшееся, после многих дней затерянного пути в океане, торжественное настроение ночного праздника требовало выхода, а потому не удивился единогласию этой поездки. Я видел карнавал в Риме и Ницце, но карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана, интересовал и меня. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, память о которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением мыслей.

Мне пришлось собираться среди матросов, а потому мы взаимно мешали друг другу. В тесном кубрике среди раскрытых сундуков едва было где повернуться. Больт взял взаймы у Перлина, Чеккер — у Смита. Они считали деньги и брились наспех, пеня лицо куском мыла. Кто зашнуровывал ботинки, кто считал деньги. Больт поздравил меня с прибытием, и я, отозвав его, дал ему пять золотых на всех. Он сжал мою руку, подмигнул, обещал удивить товарищей громким заказом в гостинице и лишь после того открыть, в чем секрет.

Напутствуемый пожеланиями веселой ночи, я вышел на палубу, где застал Дэзи в новом кисейном платье и кружевном золотисто-сером платке, под руку с Тоббоганом, на котором мешковато сидел синий костюм с малиновым галстуком; между тем его правильному загорелому лицу так шел раскрытый ворот просмоленной парусиновой блузы. Фуражка с ремнем и золотым якорем окончательно противоречила галстуку, но он так счастливо улыбался, что мне не следовало ничего замечать. Гремя каблуками, выполз из каюты и Проктор; старик остался верен своей поношенной чесучовой куртке и голубому платку вокруг шеи; только его белая фуражка с черным прямым козырьком дышала свежестью материнской заботы Дэзи.

Дэзи волновалась, что я заметил по ее стесненному вздоху, с каким оправила она рукав, и нетвердой улыбке. Глаза ее блестели. Она была не совсем уверена, что все хорошо на ней. Я сказал:

— Ваше платье очень красиво.

Она засмеялась и кокетливо перекинула платок ближе к тонким бровям.

— Действительно вы так думаете? — спросила она.— А знаете, я его шила сама.

— Она все шьет сама,— сказал Тоббоган.

— Если, как хвастается, будет ему женой, то...— Проктор договорил странно,— такую жену никто не выдумает, она родилась сама.

— Пошли, пошли! — закричала Дэзи, счастливо оглядываясь на подошедших матросов.— Вы зачем долго копались?

— Просим прощения, Дэзи,— сказал Больт.— Спрыскивались духами и запасались сувенирами для здешних барышень.

— Все врешь,— сказала она.— Я знаю, что ты женат. А вы — что вы будете делать в городе?

— Я буду ходить в толпе, смотреть; зайду поужинать и — или найду пристанище, или вернусь переночевать на «Нырок».

В то время матросы попрыгали в шлюпку, стоявшую на воде у кормы. Шлюпка «Бегущей» была подвешена к талям, и Дэзи стукнула по ней рукой, сказав:

— Ваша берлога, в которой вы разъезжали. Как думаешь,— обратилась она к Проктору,— могло уже явиться сюда это судно, «Бегущая по волнам»?

— Уверен, что Гез здесь,— ответил Проктор на ее вопрос мне.— Завтра, я думаю, вы займетесь этим делом, и вы можете рассчитывать на меня.

Я сам ожидал встречи с Гезом и не раз думал, как это произойдет, но я знал также, что случай имеет теперь иное значение, чем простое уголовное преследование. Поэтому, благодаря Проктора за его сочувствие и за справедливый гнев, я не намеревался ни торопиться, ни заявлять о своем рвении.

— Сегодня не день дел,— сказал я,— а завтра я все обдумаю.

Наконец мы уселись; толчки весел, понесших нас прочь от «Нырка» с его одиноким мачтовым фонарем, ввели наше внутреннее нетерпеливое движение в круг

общего движения ночи. Среди теней волн плескался, рассыпаясь подводными искрами, блеск огней. Огненные извивы струились от набережной к тьме, и музыка стала слышна, как в зале. Мы встретили несколько богато разукрашенных шлюпок и паровых катеров, казавшихся веселыми призраками: так ярко были они озарены среди сумеречной волны. Иногда нас окликали хором, так что нельзя было разобрать слов, но я понимал, что катающиеся бранят нас за мрачность нашей поездки. Мы проехали мимо парохода, превращенного в люстру, и стали приближаться к набережной. Там шла, бежала и перебегала толпа. Среди яркого света увидел я восемь лошадей в султанах из перьев, кативших огромное сооружение из башенок и ковров, увитое апельсинным цветом. На платформе этого сооружения плясали люди в зеленых цилиндрах и оранжевых сюртуках; вместо лиц были комические, толстощекие маски и чудовищные очки. Там же вертелись дамы в коротких голубых юбках и полумасках; они, махая длинными шарфами, отплясывали, подбоченясь, весьма лихо. Вокруг несли факелы.

— Что они делают? — вскричала Дэзи.— Это кто же такие?

Я объяснил ей, что такое маскарадные выезды и как их устраивают на юге Европы. Тоббоган задумчиво произнес:

— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган,— живо отозвалась девушка.— Это праздник. Людям нужен праздник хоть изредка. Это ведь хорошо — праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег, я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство.

— Может быть,— рассеянно сказала Дэзи.— Я не буду спорить, только мы тогда, после двадцати шести дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди!

— Держи к лестнице! — закричал Проктор матросу.— Убирай весла!

Шлюпка подошла к намеченному месту — каменной лестнице, спускающейся к квадратной площадке, и была привязана к кольцу, ввинченному в плиту. Все повысыпали наверх. Проктор запер вокруг весел цепь, по-

весил замок, и мы разделились. Как раз неподалеку была гостиница.

— Вот мы пока и пришли,— сказал Проктор, отходя с матросами,— а вы решайте, как быть с дамой, нам с вами не по пути.

— До свидания, Дэзи,— сказал я танцующей от нетерпения девушке.

— А...— начала она и посмотрела мельком на Тоббогана.

— Желаю вам веселиться,— сказал моряк.— Ну, Дэзи, идем.

Она оглянулась на меня, помахала подпятой вверх рукой, и я почти сразу потерял их из вида в проносящейся ураганом толпе, затем осмотрелся, с волнением ожидания и с именем, впервые после трех дней снова зазвучавшим, как отчетливо сказанное вблизи: «Биче Сениэль». И я увидел ее незабываемое лицо.

С этой минуты мысль о ней не покидала уже меня, и я пошел в направлении главного движения, которое заворачивало от набережной через открытую с одной стороны площадь. Я был в неизвестном городе, — чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете неизвестного торжества, и, погрузясь в заразительно яркую суету, я стал рассматривать, что происходит вокруг; шел я не торопясь и никого не расспрашивал, так же, как никогда не хотел знать названия поразивших меня своей прелестью и оригинальностью цветов. Впоследствии я узнавал эти названия. Но разве они прибавляли красок и лепестков? Нет, лишь на цветок как бы садился жук, которого уже не стряхнешь.

Глава XXII

Я знал, что утром увижу другой город,— город, как он есть, отличный от того, какой вижу сейчас,— выложенный, под мраком, листовым золотом света, озаряющего фасады. Это были по большей части двухэтажные каменные постройки, обнесенные навесами веранд и балконов. Они стояли тесно, сияя распахнутыми окнами и дверями. Иногда за углом крыши чернели веера пальм; в другом месте их ярко-зеленый блеск, более сильный внизу, указывал невидимую за стенами иллю-

минацию. Изобилие бумажных фонарей всех цветов, форм и рисунков мешало различить подлинные черты города. Фонари свешивались поперек улиц, пылали на перилах балконов, среди ковров, фестонами тянулись вдаль. Иногда перспектива улицы напоминала балет, где огни, цветы, лошади и живописная теснота людей, вышедших из тысячи сказок, в масках и без масок, смешивали шум карнавала с играющей по всему городу музыкой.

Чем более я наблюдал окружающее, два раза перейдя прибрежную площадь, прежде чем окончательно избрал направление, тем яснее видел, что карнавал не был искусственным весельем, ни весельем по обязанности или приказу,— горожане были действительно одержимы размахом, какой получила затея, и теперь размах этот бесконечно увлекал их, утоляя, может быть, давно нараставшую жажду всеобщего пестрого оглушения.

Я двинулся наконец по длинной улице в правом углу площади и попал так удачно, что иногда должен был останавливаться, чтобы пропустить процессию всадников — каких-нибудь средневековых бандитов в латах или чертей в красных трико, восседающих на мулах, украшенных бубенчиками и лентами. Я выбрал эту улицу из-за выгоды ее восхождения в глубь и в верх города, расположенного рядом террас, так как здесь, в конце каждого квартала, находилось несколько ступеней из плитняка, отчего автомобили и громоздкие карнавальные экипажи не могли двигаться; но не один я искал такого преимущества. Толпа была так густа, что народ шел прямо по мостовой. Это было бесцельное движение ради движения зрелища. Меня обгоняли домино, шуты, черти, индейцы, негры *«такие»* и настоящие, которых с трудом можно было отличить от *«таких»*; женщины, окутанные газом, в лентах и перьях; развевались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками или обшитые белым мехом. Блеск глаз, лукавая таинственность полумасок, отряды матросов, прокладывающих дорогу взмахами бутылок, ловя кого-то в толпе с хохотом и визгом; пьяные ораторы на тумбах, которых никто не слушал или сталкивал невзначай локтем; звон колокольчиков, кавалькады принцесс и гризеток, восседающих на атласных попонах породистых скакунов; скопления у дверей, где в тумане мелькали бешеные лица и сжатые кулаки; пьяные врастяжку на мостовой; трусливо пробирающиеся домой кошки; нежные голоса и хриплые возгласы; песни и струны; звук поцелуя

и хоры криков вдали — таково было настроение Гель-Гью этого вечера. Под фантастическим флагом тянулось грязное полотно навесов торговых ларей, где продавали лимонад, фисташковую воду, воду со льдом, содовую и виски, пальмовое вино и орехи, конфеты и конфетти, серпантин и хлопушки, петарды и маски, шарики из липкого теста и колючие сухие орехи, вроде репья, выдрать шипы которых из волос или ткани являлось делом замысловатым. Время от времени среди толпы появлялся велосипедист, одетый медведем, монахом, обезьяной или Пьерро, на жабо которого тотчас приклеивались эти метко бросаемые цепкие колючие шарики. Появлялись великаны, пища резиновой куклой или гремя в огромные барабаны. На верандах танцевали; я наткнулся на бал среди мостовой и не без труда обошел его. Серпантин был так густо напущен по балконам и под ногами, что воздух шуршал. За время, что я шел, я получил несколько предложений самого разнообразного свойства: выпить, поцеловаться, играть в карты, проводить, танцевать, купить — и женские руки беспрерывно сновали передо мной, маня округленным взмахом поддаться общему влечению. Видя, что чем далее, тем идти труднее, я поспешил свернуть в переулок, где было меньше движения. Повернув еще раз, я очутился на улице, почти пустой. Справа от меня, загибая влево и восходя вверх, тянулась, сдерживая обрыв, наклонная стена из глыб дикого камня. Над ней, по невидимым снизу дорогам, беспрерывно стучали колеса, мелькали фонари, огни сигар. Я не знал, какое я занимаю положение в отношении центра города; постояв, подумав и выбрав из своего фланелевого костюма все колючие шарики и обобрав шлепки липкого теста, которое следовало бы запретить, я пошел вверх, среди относительной темноты. Я прошел мимо веранды, где, подбежав к ее краю, полуосвещенная женщина перегнулась ко мне, тихо позвав: «Это вы, Сульт?» — с любовью и опасением в вздрогнувшем голосе. Я вышел на свет, и она, сконфуженно засмеясь, исчезла.

Поднявшись к пересекающей эту улицу мостовой, я снова попал в дневной гул и ночной свет и пошел влево, как бы сознавая, что должен прийти к вершине угла тех двух направлений, по которым шел вначале и после. Я был на широкой, залитой асфальтом улице. В ее конце, бывшем неподалеку, виднелась площадь. Туда стремилась толпа со всего переулка. Через головы, перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки, я увидел статую, воз-

высившуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины, с приподнятым лицом и протянутыми руками. Пока я проталкивался к ней среди толпы, ее поза и весь вид были мне не вполне ясны. Наконец я подошел близко, так, что увидел высеченную ниже ее ног надпись и прочитал ее. Она состояла из трех слов:

«Бегущая по волнам»

Когда я прочел эти слова, мир стал темнеть, и слово, одно слово могло бы объяснить все. Но его не было. Ничто не смогло бы отвлечь меня теперь от этой надписи. Она была во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли. Я поднял голову и рассмотрел статую. Скульптор делал ее с любовью. Я видел это по безошибочному чувству художественной удачи. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я видел, что ее дыхание участилось. Ее лицо было не тем, какое я знал,— не вполне тем, но уже то, что я сразу узнал его, показывало, как приблизил тему художник и как, среди множества представляющихся ему лиц, сказал: «Вот это должно быть тем лицом, какое единственно может быть высечено». Он дал ей одежду незамечаемой формы, подобной возникающей в воображении,— без ощущения ткани: сделал ее складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести. Ее мраморные глаза — эти условно видящие, но слепые при неумении изобразить их глаза статуи, казалось, смотрят сквозь мраморную тень. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые с силой внутреннего порыва, которым хотят определить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка пригибала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры.

Действительно, это было так: она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. И как ни отдаленно от всего, на высоком пьедестале из мраморных морских див, стояла «Бегущая по волнам»,— была она не одна. За ней грезился высоко поднятый волной бушприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру, прямо, вперед, рассекая город и ночь.

Настолько я владел чувствами, чтобы отличить независимое впечатление от впечатления, возникшего с бо́льшей силой лишь потому, что оно поднято обстоятельствами. Эта статуя была центр — главное слово всех других впечатлений. Теперь мне кажется, что я слышал тогда, как стоял шум толпы, но точно не могу утверждать. Я очнулся потому, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я отступил, увидев внимательно смотрящего на меня человека в треугольной шляпе, с серебряным поясом вокруг талии, затянутой в старинный сюртук. Красное седое лицо с трепетавшей от удивления бровью тотчас изменило выражение, когда я спросил, чего он хочет.

— А! — сказал человек и, так как нас толкали герои и героини всех пьес всех времен, отошел ближе к памятнику, сделав мне знак приблизиться. С ним было еще несколько человек в разных костюмах и трое — в масках, которые стояли, как бы тоже требуя или ожидая объяснений.

Человек, сказавший «А», продолжал:

— Кажется, ничего не случилось. Я тронул вас потому, что вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным. Я вижу, что ошибся, поэтому прошу извинения.

— Я охотно прощаю вас,— сказал я,— если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасение, как бы я его не украл.

— Я говорил вам, что вы ошибаетесь,— вмешался молодой человек с ленивым лицом.— Но,— прибавил он, обращаясь ко мне,— действительно мы стали ломать голову, как может кто-нибудь оставаться так погруженно-неподвижен среди трескучей карусели толпы.

Все эти люди хотя и не были пьяны, но видно было, что они провели день в разнообразном веселье.

— Это приезжий,— сказал третий из группы, драпируясь в огненно-желтый плащ, причем рыжее перо на его шляпе сделало хмельной жест. У него и лицо было рыжим; веснушчатое, белое, рыхлое, лицо с полупечальным выражением рыжих бровей, хотя бесцветные блестящие глаза посмеивались.— Только у нас в Гель-Гью есть такой памятник.

Не желая упускать случая понять происходящее, я поклонился им и назвал себя. Тотчас протянулось ко мне

несколько рук с именами и просьбами не вменить недоразумение ни в обиду, ни в нехороший умысел. Я начал с вопроса: подозрение чего могли возыметь они все?

— Вот что,— сказал Бавс, человек в треугольной шляпе,— может быть, вы не прочь посидеть с нами?! Наш табор неподалеку: вот он.

Я оглянулся и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас, через мостовую. На скатерти, сползавшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски, надо полагать, трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него десяти-двенадцати человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми, но так как не хватало стульев, Бавс поймал пробегающего мимо мальчишку, дал ему пинка, серебряную монету, и награжденный притащил из ресторана три стула, после чего, вздохнув, шмыгнул носом и исчез.

— Мы привели новообращенного,— сказал Трайт, владелец огненного плаща.— Вот он. Его имя Гарвей, он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.

— Я только что приехал,— сказал я, усаживаясь,— и действительно в восхищении от того, что я вижу, чего не понимаю и что действует на меня самым необыкновенным образом. Кроме того, я возбудил неясные подозрения.

Раздались восклицания, смысл которых был и дружелюбен и бестолков. Но выделился человек в маске: из тех словоохотливых, настойчиво расталкивающих своим ровным голосом все остальные, более горячие голоса людей, лицо которых благодаря этой черте разговорной настойчивости есть тип, видимый даже под маской.

Я слушал его более чем внимательно.

— Знаете ли вы,— сказал он,— о Вильямсе Гобсе и его странной судьбе? Сто лет назад был здесь пустой, как луна, берег, и Вильямс Гобс, в силу предания, которому верит, кто хочет верить, плыл на корабле «Бегущая по волнам» из Европы в Бомбей. Какие у него были дела с Бомбеем, есть указания в городском архиве.

— Начнем с подозрений,— перебил Бавс.— Есть партия или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести...

— У них *нет* чести,— сказал совершенно пьяный чело-

век в зеленом домино,— я знаю эту змею, Парана; дух из него вон, и дело с концом!

— Вот мы и думали,— ухватился Бавс за ничтожную паузу в разговоре,— что вы их сторонник, так как прошел час...

— ...есть указания в городском архиве,— поспешно вставил свое слово рассказчик.— Итак, я рассказываю легенду об основании города. Первый дом построил Вильямс Гобс, когда был выброшен на отмели среди скал. Корабль бился в шторме, опасаясь неизвестного берега и не имея возможности пересечь круговращение ветра. Тогда капитан увидел прекрасную молодую девушку, вбежавшую на палубу вместе с гребнем волны. «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба!» — сказала она можно понять *как* чувствовавшему себя капитану...

— Совсем не то,— перебил Бавс,— вернее, разговор был такой: «С вами говорит Фрези Грант; не пугайтесь и делайте, что скажу...»

— Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба,— быстро договорил человек в маске.— Но я уже сказал это. Так вот, все спаслись по ее указанию: выброситься на мель, а она, конечно, исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. С Гобсом была жена, так напуганная происшествием, что наотрез отказалась плавать по морю. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг «Полина», и спасшиеся уехали с ним, но Гобс не захотел ехать, потому что не мог справиться с женой,— так она напугалась во время шторма. Им оставили припасов и одного человека, не пожелавшего покинуть Гобса, так как он был ему чем-то крупно обязан. Имя этого человека Нэд Хорт; и так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат. Они умерли лет восемьдесят назад. Медленно идет время...

— Нет, очень быстро,— возразил Бавс.

— Конечно, я рассказал вам самую суть,— продолжал мой собеседник,— и только провел прямую линию, а обстоятельства и подробности этой легенды вы найдете в нашем архиве. Но слушайте дальше.

— Известно ли вам,— сказал я,— что существует корабль с названием «Бегущая по волнам»?

— О, как же! — ответил Бавс.— Это была прихоть старика Сениэля. Я его знал. Он из Гель-Гью, но лет десять назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники и посейчас живут здесь.

— Я видел это судно в лисском порту, отчего и спросил вас.

— С ним была странная история,— сказал Бавс.— С судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.

— Да, но произошла следующая история,— нетерпеливо перебил человек в маске.— Однажды...

Вдруг один человек, сидевший за столом, вскочил и протянул сжатый кулак по направлению автомобиля, объехавшего памятник «Бегущей» и остановившегося в нескольких шагах от нас. Тотчас вскочили все.

Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидели пять мужчин, все некостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах, и две дамы — одна некрасивая, с поблекшим жестким лицом, другая молодая, бледная и высокомерная. Среди мужчин было два старика. Первый, напоминающий разжиревшего, оскаленного бульдога, широко расставив локти, курил, ворочая ртом огромную сигару; другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплеч, худ, с угрюмо запавшими щеками, высоким лбом и собранными под ним в едкую улыбку чертами маленького, мускулистого лица, сжатого напряжением и сарказмом.

— Вот они! — закричал Бавс.— Вот червонные валеты карнавала! Добс, Коутс, бегите к памятнику! Эти люди способны укусить камень!

Вокруг автомобиля и стола столпился народ. Все встали. Стулья поопрокидывались; с автомобиля отвечали криками угроз и насмешек.

— Что?! Караулите? — сказал толстый старик.— Смотрите не прозевайте!

— *С этим* не прозеваешь! — вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером.— Можете кататься, уезжать, приезжать или разбить себе голову — как хотите!

Второй старик закричал, высунувшись из автомобиля:

— Мы отобьем вашей кукле руки и ноги! Это произойдет скоро! Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брелоков.

Вне себя, Бавс начал рыться в кармане и побежал к автомобилю. Машина затряслась, сделала поворот, отъехала и скрылась, сопровождаемая свистками и аплоди-

сментами. Тотчас явились два полисмена, в обрывках серпантиновых лент, с нетвердыми жестами; они стали уговаривать Бавса, который, дав в воздух несколько выстрелов, остановил велосипедиста, желая отобрать у него велосипед для погони за неприятелем. Остолбеневший хозяин велосипеда уже начал оглядываться, куда прислонить машину, чтобы, освободясь, дать выход своему гневу, но полисмен не допустил драки. Я слышал сквозь шум, как он кричал:

— Я все понимаю, но выберите другое место сводить счеты!

Во время этого столкновения, которое было улажено неизвестно как, я продолжал сидеть у покинутого стола. Ушли — вмешаться в происшествие или развлечься им — почти все; остались — я, хмельное зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник. Происшествие с автомобилем изменило направление его мыслей.

— Акулы, которых вы видели на автомобиле,— говорил он, следя, слушаю ли я его внимательно,— затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один, худощавый,— это Кабон; у него восемь паровых мельниц; с ним толстый — Тукар, фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но это не удалось. Таким образом...

Его перебило возвращение всей застольной группы, занявшей свои места с гневом и смехом. Дальнейший разговор был так нервен и непоследователен,— причем часть обращалась ко мне, поясняя происходящее, другая вставляла различные замечания, спорила и перебивала,— что я бессилен восстановить ход беседы. Я пил с ними, слушая то одного, то другого, пока мне не стало ясным положение дела.

Разумеется, под открытым небом, среди толпы, занятой увеселительными делами, сидение за этим столом разнообразилось всякими инцидентами. Знакомые моих хозяев появлялись с приветствиями, шептали им на ухо или, таинственно отведя их для секретной беседы, составляли беспокойный фон, на котором мелькал дождь конфетти, сыпавшейся из хорошеньких ручек. Покушение неизвестных масок взбесить нас танцами за нашей спиной, причем не прекращались разные веселые бедствия, вроде закрывания сзади рукой глаз или изымания стула из-под

привставшего человека, вместе с писком, треском, пальбой, топотом и чепуховыми выкриками, среди мелодий оркестров и яркого света, над которым, улыбаясь, неслась мраморная «Бегущая по волнам»,— все это входило в наш разговор и определяло его.

Как ни прекрасен был вещественный повод вражды и ненависти, явленный одинокой статуей,— вульгарной оказалась сущность ее между людьми. Основой ее были старые счеты и материальные интересы. Еще лет пять назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуей или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склады участка принадлежала Грасу Парану. Фамилия Парана была одной из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Это были удачливые и сильные люди, с тем выгодным для них знанием жизни, которое одно, само по себе употребленное для обогащения, верно приводит к цели. Богатство их увеличивалось по законам роста дерева; оно не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году Элевзий Паран, дед нынешнего Граса Парана, не увидел среди глыб обвала на своем участке, замкнутом с одной стороны горами, ртутной лужи и не зачерпнул в горсть этого тяжелого вещества.

— Стоит вам взглянуть на термометр,— сказал Бавс,— или на пятно зеркального стекла, чтобы вспомнили это имя: Грас Паран. Ему принадлежит треть портовых участков и сорок домов. Кроме капитала, заложенного по железным дорогам, шести фабрик, земель и плантаций, свободный оборотный капитал Парана составляет около ста двадцати миллионов!

Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей, и усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова женился на молодой девушке. Расстояние возрастов было таково: Парану пятьдесят лет, его жене — восемнадцать и Герду — двадцать четыре. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он провел в Италии пять лет, учился по мастерским Фарнези, Ависа, Гардуччи и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой завязалась у него дружба, а дружба перешла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем — он, и более не вернулись.

Когда в Гель-Гью был поднят вопрос о памятнике основанию города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли; и в самой этой странной надписи было движение. Модель Герда (еще не знали, что это Герд) воскресила пустынные берега и мужественные фигуры первых поселенцев. Заказ был послан, имя Герда открыто, статуя перевезена из Флоренции в Гель-Гью, при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж, но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. В дело вмешались страсти и самолюбие. Памятник был поставлен. Лицо «Бегущей» ничем не напоминало жену Парана, но своеобразное искажение чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело к маниакальному внушению. Паран остался при убеждении, что Герд в этой статуе изобразил Химену Паран.

Одно время казалось,— история остановилась у точки. Однако Грас Паран, выждав время, начал жестокую борьбу, поставив задачей жизни — убрать памятник; и достиг того, что среди огромного числа родственников, зависящих от него людей и людей подкупленных был поднят вопрос о безнравственности памятника, чем привлек на свою сторону людей, бессознательность которых поет от старых уколов, от мелких и больших обид, от злобы, ищущей лишь повода,— людей с темными, сырыми ходами души, чья внутренняя жизнь скрыта и обнаруживается иногда непонятным поступком, в основе которого, однако, лежит мировоззрение, мстящее другому мировоззрению — без ясной мысли о том, что оно делает. Приемы и обстоятельства этой борьбы привели к попыткам разбить ночью статую, но подкупленные для этой цели люди были схвачены группой случайных прохожих, заподозривших неладное в их поведении. Наконец, постановление города праздновать свое столетие карнавалом, которому также противодействовали Паран и его партия, довело этого человека до открытого бешенства. Были угрозы; их слышали и передавали по городу. Накануне карнавала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия памятника. Стре-

лявший скрылся; и с этого часа несколько решительных людей установили охрану, сев за тот самый стол, где я сидел с ними. Тем временем нападающая сторона, не скрывая уже своих намерений, открыто поклялась разбить статую и обратить общее веселье в торжество мрачного замысла.

Таков был наш разговор, внимать которому приходилось с тем бо́льшим напряжением, что его течение часто нарушалось указанными выше вещественными и невещественными порывами.

Карнавалы, как я узнал тогда же, происходили в Гель-Гью и раньше благодаря французам и итальянцам, представленным значительным числом всего круга колонии. Но этот карнавал превзошел все прочие. Он был популярен. Его причина была красива. Взаимный яд двух газет и развитие борьбы за памятник, ставшей как бы нравственной борьбой, придали ему оттенок спортивный; неожиданно все приняло широкий размах. Город истратил на украшения и на торжество часть хозяйственных сумм, что еще подлило масла в огонь, так как единодейственники Парана мгновенно оклеветали врагов; те же, при взаимном наступательном громе, вытащили из-под сукна старые, неправильно решенные в пользу Парапа дела. Грузоотправители, нуждающиеся в портовой земле под склады, возненавидели защитников памятника, так как Паран объявил свое решение: не давать участка, пока на площади стоит, протянув руки, «Бегущая по волнам».

Как я видел по стычке с автомобилем, эта статуя, имеющая для меня теперь совершенно особое значение, действительно подвергалась опасности. Отвечая на вопрос Бавса, согласен ли я держать сторону его друзей, то есть присоединиться к охране, я, не задумываясь, сказал: «Да». Меня заинтересовало также отношение к своей роли Бавса и всех других. Как выяснилось, это были домовладельцы, таможенные чины, торговцы, один офицер. Я не ожидал ни гимнов искусству, ни сладких или восторженных замечаний о глубине тщательно охраняемых впечатлений. Но меня удивили слова Бавса, сказавшего по этому поводу: «Нам всем пришлось так много думать о мраморной Фрези Грант, что она стала как бы наша знакомая. Но и то сказать, это — совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас».

Так как подтвердилось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение одного крайне шумного человека без маски, одетого жокеем, полного, нервного, с надутым красным лицом. Его глаза катались в орбитах с удивительной быстротой, видя и подмечая все. Он напевал, бурчал, барабанил пальцами, возился шумно на стуле, иногда врывался в разговор, не давая никому говорить, но так же внезапно умолкал, начиная, раскрыв рот, рассматривать лбы и брови говорунов. Сказав свое имя: «Арингел Кук» — и сообщив, что живет за городом, а теперь заблаговременно получил номер в гостинице, Кук пригласил меня разделить его помещение.

— От всей души,— сказал он.— Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее. Бесстыдно сообщаю вам, что я сплетник; сплетня — моя болезнь, я люблю сплетничать и, говорят, достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом — богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей, вроде вас. Но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.

Я записал адрес гостиницы и едва отделался от Кука, желавшего немедленно показать мне, как я буду с ним жить. Еще некоторое время я не мог встать из-за стола, выслушивая кое-кого по этому же поводу, но наконец встал и обошел памятник.

Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля.

Глава XXIII

С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, сламываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь, во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую.

Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась мало заметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны, внизу

памятника, была вторая надпись: «Георг Герд, 5 декабря 1909 года». Среди ночи, за следом маленьких ног, вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. «Не скучно ли на темной дороге?» — вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лицами, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули:

— Стрелять в женщину! — это сказала одна из них; другая ответила:

— Должно быть, человек был сумасшедший!

— Просто дурак,— возразила первая.— Однако идем. Она начала шептать, но я слышал:

— Вы знаете, есть примета. Надо ее попросить...— остальное прозвучало, как «...а?! о?! Неужели!»

Маски рассмеялись коротким, грудным смешком секрета и любви, затем тронулись по своим делам.

Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами, и в полумаске.

— Вы тут были один? — торопливо проговорила она, возясь одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я не ушел.— Постойте, я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить... (Иду! — крикнула она на зов из толпы.) Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее и найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутаете? — и женщина двинулась отбежать, но я ее задержал. Карнавал полон мистификаций. Я сам когда-то посылал многих простачков искать несуществующее лицо, но этот случай мне показался серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянувшую его всем телом женщину, как пойманную лесой рыбу.

— Кто вас послал?

— Не разорвите! — сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке, а она подбежала за ним.— Отдайте же шарф! Эта самая женщина и послала; сказала и ушла; ах, я потеряю своих! Иду! — закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее.— Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности! Ну?! — она выхватила шарф, кивнула и убежала.

Может ли быть, что, тайно от меня, думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы, охва-

ченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто перешептывался, кто указывал на меня? Подготовлял встречу? Улыбался в тени? Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете?.. «Да, это Биче Сениэль,— сказал я,— и больше никто». В эту ночь я думал о ней, я ее искал, всматриваясь в прохожих. «Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь, я слышал, и я должен идти!» Я был в том безрассудном, схватившем среди непонятного первый навернувшийся смысл состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ощупи. Все становится закрыто и недоступно; указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад; я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахе пудры и табаку к лестнице, по которой сбегали и взбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли и шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу движений лишь наверху, где, влево, увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой.

Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего в левом от входа углу зала; минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестевшими немо и выразительно, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый вид затейливого секрета. Ее костюм был что-то среднее между матинэ и маскарадной фантазией. Его контуры, широкие рукава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам; другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе так и этак, делая вид, что закручивает усы, коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарвей». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я, Томас Гарвей,— есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между

тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно, и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня — кто она.

— Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса,— сказал я.— Я видел вас, но никогда не говорил с вами.

Она стала на момент неподвижной; лишь ее взгляд в черных прорезях маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом:

— Скажите, как мое имя?

— Вы послали за мной?

Множество усердных кивков было ответом.

Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и спугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть. Но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя.

— Биче Сениэль! — тихо сказал я, первый раз произнеся вслух эти слова.— Лисс, гостиница «Дувр». Там остановились вы дней восемь тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто, как все просто во мне. Не знаю,— прибавил я, видя, что она отступила, уронила руки и молчит, молчит всем существом своим,— следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.

Ее рот дрогнул, полуоткрылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу, потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дэзи. Сквозь заметное огорчение скользнула улыбка удовольствия явиться вместо другой.

— Не хочу больше прятаться,— сказала она, протягивая мне руку.— Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.

Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла и, стоя в полуоборот, стала надевать полумаску.

Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом и неожиданностью. Я испытал мерзкое угнетение.

— Я был уверен,— сказал я, следуя за ней,— что вы уже спите на «Нырке». Отчего вы не подошли, когда я стоял у памятника?

Дэзи повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье это очень шло к ней: на нее оглядывались, проходя, мужчины, взглядывая затем на меня, но я чувствовал ее горькую растерянность. Дэзи проговорила, останавливаясь среди слов:

— Это верно, но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тоббоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника, один. Неужели это действительно сделала Фрези Грант? Как странно! Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тоббогана! Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно,— прибавила она, направляясь к лестнице и видя, что я пошел за ней.— Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего!

Мне незачем и не надо было идти вместе, но, сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахрому на груди. В ее вдруг потерявших гибкость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дэзи не затерялась среди толпы; потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел как следует ни пошутить, ни выразить удовольствия. Я выругал себя грубым животным, и хотя это было несправедливо, пробирался среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя.

В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое: высокий морской офицер с любезным, крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дэзи. По крайней мере это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было: маскарадный двойник Дэзи была Биче Сениэль, и я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дэзи, по впечатлению основной черты этой новой и уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложения, телодви-

жений и, пока то пробегало в уме, сказал, кланяясь ей:

— Биче Сениэль, это — вы. Я вас узнал.

Она вздрогнула. Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, она двинула вверх нижней губой, как будто полумаска мешала ей видеть, и рассмеялась, но неохотно.

— Биче Сениэль? — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным.— Ах, извините, я не знаю ее. Я — не она.

Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал:

— Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гез, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях, может быть, даже вчера.

— О! А! — воскликнула она с серьезным недоумением.— Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф.

Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Биче Сениэль. Мгновение она рассматривала меня. Я поклонился и назвал себя.

— Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности,— заметила она.— Сознаюсь, что я ничего не понимаю.

Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она тотчас поняла это и, взглянув на офицера, сказала:

— Мой племянник, Ботвель. Да, так: я вижу, что надо поговорить.

Ботвель, стоявший сложив руки, переводя взгляд от Биче ко мне, заметил:

— Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нувелю уговориться относительно поездки в Латорп.

Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал; потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой, эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы.

Биче смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я сознавал всю трудность предстоящего разговора, почему медлил, но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки:

— Вы плыли на «Бегущей»? — Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать, отчего я начал говорить сбивчиво. Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить о ней, но, когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись.

Я был очень благодарен Биче за внимание и спокойствие, с каким слушала она рассказ о сцене на набережной, то есть о себе самой. Она улыбнулась лишь, когда я прибавил, что, звоня в «Дувр», вызвал *Анну Макферсон.*

— Я слушаю, слушаю,— сказала она; затем — очень серьезно: — Я поняла, что́ передали вы обо мне, я представляю это.

Вскоре после того Биче снова надела полумаску, отчего я почувствовал себя спокойнее и увереннее. Теперь лишь по движению губ Биче мог судить я о ее отношении к моему рассказу.

Как только я рассказал о набережной, стало возможным говорить о сегодняшнем вечере.

— Теперь вам придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого; считаю многое незаслуженной удачей.

Мне не хотелось упоминать о Дэзи, но выхода не было. Я рассказал о ее шутке и о второй встрече с совершенно таким же, желтым, отделанным коричневой бахромой платьем, то есть с самой Биче. Я сказал еще, что лишь благодаря такому настойчивому повторению одного и того же костюма я подошел к ней с полной уверенностью.

— Следовательно, вы рассчитывали встретить *меня*? — спросила она.— О, действительно это сложно! Да, но еще — Гез. Конечно, он вам говорил обо мне?!

— Нет.

— Платье, этот костюм,— мы еще, пожалуй, поймем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской.— Она тронула бахрому на груди и продолжала: — Войдя туда, я увидела свой костюм среди нескольких других; в общем оставалось уже немного. Я указала этот. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один. Второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?

— Должно быть, так,— ответил я, стараясь не усложнять объяснения, которое, предполагая тройную рази-

тельную случайность, все же умещалось в уме.— Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.

— Здесь нет секрета,— ответила Биче, подумав.— Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш, он принадлежал моему отцу. Гез присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне, хотя я и не могу понять! Дело в том, что я в Гель-Гью только затем, чтобы заставить Геза вернуть нам «Бегущую». Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.

Снова начались музыка, танцы: пол содрогался. Слова Биче о «мошеннической проделке» Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть была мудрая простота и тонкая внимательность, сделавшие мой рассказ неполным; я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал поэтому о происшествии в доме Стерса.

— За крупную сумму,— сказал я,— Гез согласился предоставить мне каюту на «Бегущей по волнам», и мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье, утром я был взят небольшой шхуной, шедшей в Гель-Гью. Я прибыл сюда сегодня вечером.

Действие этого рассказа было таково, что Биче немедленно сняла полумаску и больше уж не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие: лишь, сведя брови, стесненно вздохнула.

— Недурно! — сказала она с выражением, которое стоило многих восклицательных знаков.— Следовательно, Гез... Я знала, что он негодяй. Но я не знала, что он может быть страшен.

В увлечении я хотел было заговорить о Фрези Грант, и мне показалось, что в нервном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет

уместен. Я вспомнил, что *нельзя* говорить, с болью подумав: «Почему?» В то же время я понимал *почему*, но отгонял понимание. Оно еще было пока лишено слов.

Не упоминая о портрете, прибавив, сколько мог, прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Биче, видимо доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда.

«Бегущая по волнам» была выстроена ее отцом для матери Биче, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей лет восемь назад. Капитаном поступил Гез; Бутлер и Синкрайт не были известны Биче; они начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После того как Сениэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Сениэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем,— фиктивной передачей его в собственность капитану. Гез выполнил все формальности; кроме того, он уплатил половину остатка долга Сениэля.

Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и отвел «Бегущую» в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Сениэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях, но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег.

— Но он не денег хотел,— сказала Биче, задумчиво рассматривая меня.— Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело.— Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передавшейся мне, *что* произошло.— Ну, так вот. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите, лишь писал длинные письма, и в последних письмах его (я все читала) прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что, если он не отдаст обратно «Бегущую»,— моя судьба будет... сделаться,— да, да! — его, видите ли, женой. Да, он такой. Это странный человек, и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на два-три дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению и сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем или мелодрама-

тическим негодяем с «искрой в душе». А? — Она рассмеялась.— Ну, вот видите теперь сами. Но его основа,— сказала она с убеждением,— это черт знает что! Вначале он, по крайней мере у нас, был другим. Лишь изредка слышали о разных его «подвигах», на что не обращали внимания.

Я молчал, она улыбнулась своему размышлению.

— «Бегущая по волнам»! — сказала Биче, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на коленях.— Отец очень стар. Не знаю, кто старше,— он или его трость; он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всей огромной, долго, бурно, счастливо и содержательно прожитой им своей жизни, образ моей матери все яснее, отчетливее ему, и память о том, что связано с ней, остра. Я вижу, как он мучается, что «Бегущая по волнам» ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой! Я взяла чек на семь тысяч... Вот-вот: читаю в ваших глазах: «Отважная, смелая»... Дело в том, что в Гезе есть,— так мне кажется, конечно,— известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется «психологией». Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лиссе, куда указывали мои справки, я разминулась с Гезом всего на один день; не зная, зайдет он в Лисс или отправится прямо в Гель-Гью, я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть, это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно: мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала, решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности,— не потому, чтобы не видела, что говорю с джентльменом, но... это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрези Грант?

— Знаю.

— Ведь это — «Бегущая». Оригинальный город Гель-Гью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Сениэли,— герои праздника: у нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам»; кроме того, моя мать родом из Гель-Гью; она — прямой потомок Вильямса Гобса, одного из основателей города.

— Известно ли вам,— сказал я,— что корабль переуступлен Брауну так же мнимо, как ваш отец продал его Гезу?

— О да! Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез. Вот и Ботвель.

Приближаясь, Ботвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти.

— Представьте, что случилось,— сказала ему Биче.— Наш новый знакомый, Томас Гарвей, плавал на «Бегущей» с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь.

Она не прибавила ничего больше об этой истории, предоставляя мне, если я хочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт; коротко подтвердив слова Биче, я умолчал Ботвелю о подробностях своего путешествия.

Биче сказала:

— Меня узнали случайно, но очень, очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка.

Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах.

— Да,— сказал Ботвель,— мрачный пират преследует нашу Биче с кинжалом в зубах. Это уже все знают; настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы.

— Смейтесь! — воскликнула Биче.— А мне, без смеха, предстоит мучительный разговор!

— Мы вместе с Гарвеем войдем к Гезу,— сказал Ботвель,— и будем при разговоре.

— Тогда ничего не выйдет.— Биче вздохнула.— Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем.

— Вас не тревожит...— Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать.

— О-о! — заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда.— Однако ночь чудес затянулась. Нам идти, Ботвель.— Вдруг оживясь, засмеявшись так, что стала совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне.

— Вы будете у нас? — сказала Биче.— Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра.

Я поблагодарил, после чего Биче и Ботвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей зала, теснясь среди маскарадной толпы. Биче подала руку.

— Итак, вы *все* помните? — сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством.— Даже то, что происходит на набережной? (Ботвель улыбался, не понимая.) Правда, память — ужасная вещь! Согласны?

— Но не в данном случае.

— А в каком? Ну, Ботвель, это все стоит рассказать Герде Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь,— обратилась ко мне девушка,— я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно! Так все сложно. Вся жизнь! Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например,— эти два платья. Тут есть вопрос! До свидания.

Когда она отвернулась, уходя с Ботвелем, ее лицо,— как я видел его профиль,— стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня; угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта, лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь.

Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я наконец опамятовался и вышел из зала по лестнице к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час назад спускалась по этой лестнице Дэзи, задумчиво теребя бахрому платья, и смиренно, от всей души пожелал ей спокойной ночи.

Глава XXIV

Захотев есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан, и, хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты; яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в игольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фут пространства возле буфета, куда я тотчас и устремился, когда это случилось, и начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Неизвестный человек расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я всмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом: этот человек был Синкрайт.

Пытаясь оттолкнуть и меня, Синкрайт бегло оглянулся; тогда, задержав его взгляд своим, я сказал:

— Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами!

Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал страстную, мучительную тоску, желание бежать, скрыться,— хотя в этой тесноте бежать смогла бы разве лишь кошка.

— Фу, фу! — сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки.— Я весь дрожу! Как я рад, как счастлив, что вы живы! Я не виноват, клянусь! Это — Гез. Ради бога, выслушайте, и вы все узнаете! Какая это была безумная ночь! Будь проклят Гез; я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем.

Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел, но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал:

— Выйдем отсюда...

— Конечно... Я всегда...

Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на «Бегущей», как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в Дагон. Тогда мы были от Дагона на расстоянии всего пятидесяти с небольшим миль. Один Бутлер думал, что может случиться худшее.

Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему.

Произошло следующее.

С самого начала, когда я сел на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план — объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гез думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение после отплытия из Лисса стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил: «Будет неудача с этим проклятым Гарвеем».

— Я чувствовал его нежную любовь,— сказал я,— но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?

— Клянусь вам, не знаю! — вскричал Синкрайт.— Может быть... трудно сказать. Он, видите ли, суеверен.

Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гез поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть «таинственного», по их словам, пассажира и дразнили Геза моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гез, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гель-Гью; теперь они покинули судно. «Бегущая» пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гез вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя.

— Здесь,— говорил Синкрайт,— то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно. Верните его!» Гез стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама,— вы знаете...

Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить: «Откуда появилась она?» — и тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом,— или поддержать удобную простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил:

— Да. И вы не могли понять?!

— Ясно,— сказал Синкрайт,— она была с вами, но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга,— что было думать обо всем этом? Гез снова сошел с ума. Он хотел ее задержать, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гез клялся, что она пришла к вам ночью в Лиссе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами всего света, чем Гез. Он только и твердил что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз за сутки

учил всех, что и как говорить, когда вы заявите па него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалованье, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку!

— Синкрайт,— сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план, полезный Биче,— вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл...

— Клянусь!..— начал Синкрайт и умолк па первом моем движении.

Я продолжал:

— Это *было*, а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас па суде при одном условии.

— Говорите, ради бога; я сделаю все!

— Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.

— Готов промолчать сто лет; простите меня!

— Так. Где Гез — на судне или па берегу?

— Он съехал в небольшую гостиницу па набережпой. Она называется «Парус и Пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.

— Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен.

— Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?

— Поменьше пейте,— сказал я, немного смягченный его испугом и рабством.— А также оставьте Геза.

— Клянусь...— начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступенях подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу.

Движение уменьшалось. Толпа расходилась; двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпающий город «Бегущая по волнам», и я простился с ней, как с живой. Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их. Но все равно он спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал, узнав меня: «Устраивайтесь»,— и с треском завалился на другой бок.

Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз; комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

Глава XXV

Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано, и это желание — рано встать — бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпяченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восстановив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра.

Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки: одну — Биче Сениэль, уведомляя ее, что Гез находится в Гель-Гью, с указанием его адреса; вторую — Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дэзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса.

Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гез уйдет по своим делам или спрячется, если Синкрайт не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче, ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Сенизлей,— я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и Пар», белого, грязного дома, со стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые, догоняющие меня шаги. «Остановитесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся.

Это был Бутлер, с его тяжелой улыбкой.

— Войдемте на лестницу,— сказал он.— Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело, что говорить! Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне; это так. Впрочем, от вас зависит, знаться со мной или смотреть, как на врага.

Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно; в них были и горький упрек себе и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, послышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особенного внимания, я стал подниматься по лестнице, сказав Бутлеру:

— Я склонен вам верить; но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор.

— Хорошо,— сказал он.— Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова; потом я уйду.

В это время мы поднялись во второй этаж и шли по тесному коридору, с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей — четыре или пять,— разделенных неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая крикливая особа лет сорока, с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся, дома ли Гез, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце.

— Дома ли он — не хочу и не хочу знать! — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение.— Ступайте сами и узнавайте, но я к этому подлецу больше ни шагу. Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш Гез! Я думала, он меня стукнет. «Ступай вон!» Это — мне! Дома,— закончила она, свирепо вздохнув,— уже стрелял. Я на звонки не иду, черт с ним: так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. Идите, и, если спросит, не

видели ли меня, можете сказать, что я ему не слуга. Там женщина,— прибавила толстуха.— Развратник!

Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на Бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо.

Я начал стучать, вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил.

— Стучите громче,— сказал Бутлер,— он, верно, снова заснул.

Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире; теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это Бутлеру.

— Там никого нет,— подтвердил он.— Странно, но правда. Ну что же, давайте откроем.

Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкаф, и вошел, крайне пораженный тем, что Гез лежит на полу.

Глава XXVI

— Да,— сказал Бутлер после молчания, установившего смерть,— можно было стучать громко или тихо — все равно. Пуля в лоб: точно так, как вы хотели.

Я подошел к трупу, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекшую к порогу из простреленной головы Геза.

Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к выходу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери; расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул; рана над переносицей слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть — часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы. Диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутылка на столе, среди сигар, галстуков и пер-

чаток; у двери — темный старинный шкаф, в бок которому упиралась железная койка, с наспех наброшенным одеялом,— вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Геза лежал револьвер. В задней стене, за столом, было раскрытое окно.

Дверь, стукнувшись о шкаф, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настежь и укрепил.

— Мы не должны закрываться,— резонно заметил он.— Ну, что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит,— убит или застрелился. Он мертв.

Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум; справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом, заглянул в дверь; его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе; почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял, у стола. Бутлер, походив, сел; он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова.

Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем, среди разом нахлынувшей толпы — человек пятнадцати — появилась молодая женщина или девушка, в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно спокойна. Я *заставил* себя узнать ее. Это была Биче Сениэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут: «Эти люди мне неизвестны».

Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Геза ее совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Биче взглядом. «Нет»,— сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп.

В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа,— Биче, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она постукивала пальцами о ручку дивана, потом, с выражением осторожно переходящей грязную

улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд.

— Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице,— объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену.— Вот то же скажет жена. Эй, хозяин! Гарден! Мы оба задержали ее на лестнице!

— А вы кто такой? — осведомился, Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым.

Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня.

— Бутлер и тот джентльмен пришли только что, они еще спрашивали, дома ли Гез. Ну, вот — только зайти сюда.

— Я помощник убитого,— сказал Бутлер.— Мы пришли вместе; постучали, вошли и увидели.

Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены, и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Биче сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и, когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где,— свидетели не могли знать. Биче уже шла внизу, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Биче пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу.

Пока происходили эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Биче, все еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других, и тотчас же ее взгляд мне точно сказал: «Нет». Впрочем, довольно было видеть ее безыскусственную чуждость происходящему. Я подивился этому возвышенному самообладанию в таком месте

и при подавляющих обстоятельствах. Все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице, так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь.

Среди общего волнения за стеной раздались шаги: люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным, деловым лицом; за ним врач и два полисмена.

— Кем был обнаружен труп? — спросил комиссар, оглядывая толпу.

Я, а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите.

— Вы останетесь. Кто хозяин?

— Я.— Гарден принес к столу стул, и комиссар сел; расставив колена и опустив меж них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад.

Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Биче Сениэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе.

При появлении полиции Биче не изменила положения, лишь взглядом напомнила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов; комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике.

— Прошу вас сесть,— сказал комиссар.— Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.

— Оно останется неизвестным,— ответила Биче, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав было краснеть, прикусила губу.

Комиссар сказал:

— Хозяин, удалите всех, останутся вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.

— Я ничего не объясню вам,— сказала Биче так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее.

В это время все, кроме Биче, Гардена, меня и Бут-

лера, покинули комнату. Дверь закрылась. За ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных.

— Вы отказываетесь отвечать на вопрос? — спросил комиссар с той дозой официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы.

— Да.— Биче кивнула.— Я отказываюсь отвечать. Но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.

— Я слушаю вас.

— Конечно, я непричастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.

— Это — все? — сказал комиссар, записывая ее слова.— Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство; мы пока что не знаем. Вас видели спрыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.

— Они подозрительны,— сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово.— С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои соображения, есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое — о! — очень несложное показание, но объявить кто́ я, теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда,— мне нельзя. У меня есть отец, восьмидесятилетний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить.

— Вы боитесь огласки?

— Единственно. Кроме того, показание по существу связано с моим именем, и, объявив, в чем было дело, я, таким образом, все равно что назову себя.

— Так,— сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону.— Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?

— Не знаю. Может быть, даже — нет. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознания непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.

— Однако,— возразил комиссар,— не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?

— Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя или откроют его.

— У вас нет оружия?

— Я не ношу оружия.

— Начнем по порядку,— сказал комиссар, записывая, что услышал.

Глава XXVII

Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это,— несмотря на отрицающие преступление внешность и манеру Биче,— яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчивается. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы бросивших вдруг свет на события утра, и второй, вслед за этим, более вразумительный, то есть — сознание, что желание Бутлера скрыть тайный провоз яда — ничего не объясняет в смысле убийства и ничем не спасает Биче. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени,— а, как я уже говорил, портрет в каюте Геза не оставлял ему сомнений,— я думал, что хотя и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет.

Оставив Биче в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было семь гнезд, их пули оказались на месте.

— Можете вы сказать, чей это револьвер? — спросил Бутлера комиссар.

— Это его револьвер, капитана,— ответил моряк.— Гез никогда не расставался с револьвером.

— Точно ли это его револьвер?

— Это его револьвер,— сказал Бутлер.— Он мне знаком, как кофейник — повару.

Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукатурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята, меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Геза; кроме того — никелирована.

— Риверс-бульдог,— сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля.— Убитый не воспользовался своим кольтом.

Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Геза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завернутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму: пять тысяч фунтов.

— Он не был ограблен,— сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся сложность событий оборачивалась все более в худшую сторону для Биче.

Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, но был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина, Гардена.

Рассказав, что Гез останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуге, иногда не ночевал дома и был в общем беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу.

— В девять часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан; изругал меня, Пегги и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и часов около десяти услышал выстрелы, не помню — сколько. Гез угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен,— будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги,— пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать. Я спросил, что случилось. Оказалось, что к Гезу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно идти, если Гез позво-

нит. Я выпытал все же у нее, что она идти не намерена, и, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со «Спринга»: они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана Геза стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Поставщик ждал; я вернулся к нему. Затем прошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гез был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома (у нас общий двор) спешат мне навстречу, а среди них эта неизвестная барышня. Дверь Геза была раскрыта настежь. Там стояли двое: Бутлер,— я знаю Бутлера,— и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гез лежит на полу, потом вошел вместе с другими.

— Позовите женщину, Пегги,— сказал комиссар.

Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты; когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу.

— Расскажите, что вам известно,— предложил комиссар после обыкновенных вопросов: как зовут и сколько лет.

— Он умер, я не хочу говорить худого,— торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь.— Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось.

— Что́ началось?

— Я не то говорю. Он пришел вчера поздно; да,— Гез. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой, почему я не могла прибрать. Я еще не спала; я слышала, как он стучит наверху: идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать тут, там,— ну что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно (Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в момент окрика), я возразила насчет моих обязан-

ностей. «А это ты видела?» — закричал он. То есть видела ли я стул. Потому что он стал махать стулом над моей головой. Что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит...

— Когда это было?

— Часов в восемь. Я бы и минуты заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.

— Вы невинны, Пегги?! — сказал комиссар.— Что же было после звонка?

— Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует.

Биче, внимательно слушавшая рассказ горячего пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть это доказательство ее нервной силы.

Пегги продолжала:

— ...стал звонить на разные манеры и все под чужой звонок, сам же он звонит коротко: раз, два. Пустил трель, потом начал позвякивать добродушно и — снова своим, коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги; он грозит изрешетить потолок»,— палить то есть начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы заложили дверь баррикадой и бились: на шестерых — три...

— Вы храбрая женщина, Пегги,— перебил комиссар,— но то дело прошедшее. Говорите об этом.

— Да, я не трус, это все скажут. Если мою жизнь рассказать,— будет роман. Так вот, начало стучать там, у Геза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот, взгляните...

Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сосчитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов; эти числа сошлись. Пегги продолжала:

— Я пошла к нему; пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потому поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу — меня окликнули. Вот эта барышня; извините, не знаю,

как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу человеческое лицо. «У вас остановился капитан Вильям Гез? — так она меня спросила.— В каком номере он живет?» — Значит, опять он, не выйти ему у меня из головы и, тем более, от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж! Каждый ходит, куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гез вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь; потом покраснел и сказал: «Это вы! Это вы! Здесь!» Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала: только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия! Однако на лестнице я остановилась,— может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гез и барышня, пошли в галерею, где начали говорить, по что — не знаю. Только слышно: «Гу-гу, гу-гу, гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь. Каждый ходит, куда хочет. Я побыла внизу, а этак через полчаса принесли письма маклеру из первого номера, и я пошла снова наверх кинуть их ему под дверь; постояла, послушала: все тихо. Гез не звонит. Вдруг бац! Это у него выстрел. Вот он *какой* был выстрел! Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески. Ведь видел, что я постучала; значит, приду и так. Тем более, это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет: ей некогда. Ну-с, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина; она — туда, она — сюда, и, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли наверх Бутлер с джентльменом и опять насчет Геза: «Дома ли он?» В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала, только показала на дверь, а сама скорее ушла, потому что, думаю, если ты меня позовешь, так знай же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете мне не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале думала я, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал сам не свой. Вот когда вошли,— я и увидела... Гез готов.

Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному, различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла, пятясь и кланяясь. Наступила моя очередь, и я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрение на себя, как это ни было

трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Биче Сениэль. Сознаюсь,— я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с Бутлером, на глазах прислуги, когда Гез уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрение комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гез в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гез, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрайту, я умолчал об его активном участии. Бутлер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например о фотографии Биче в каюте Геза и запутанном положении корабля в руках капитана, с целью сосредоточить все происшествия на себя. Я говорил, тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Биче при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гезу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности.

Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе, в связи с Гезом, сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями Бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно, понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль Бутлера благоприятным для него упоминанием о, в сущности, пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника,— он, быть может, встревожился, как виновный в недонесении. Так или иначе, Бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съежился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое усилие,— какое бывает при внезапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя.

По ставшему чрезвычайно серьезным лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам посту-

пил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось.

— Объявляю,— сказал комиссар, встав,— впредь до выяснения дела арестованными: неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.

В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал: таким чужим, изменившимся голосом заговорил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес:

— Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.

— Что это значит? — спросил комиссар.

— Я убил Геза.

Глава XXVIII

К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности; но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Биче Сениэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое — из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем,— с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств.

— Этого надо было ожидать,— сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам.— Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь и изложите, как было совершено преступление.

— Я решил,— начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму,— я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это — случай; я не хотел его убивать. Я молчал потому, что надеялся, для барышни, на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснения она не дала, следовательно, ее надо

арестовать. Так, это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать. Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот,— встать и сказать: Геза застрелил я.

— Благодарю вас,— сказала Биче с участием,— вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.

— Должно быть, понадобится,— ответил Бутлер, подавленно улыбаясь.— Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гель-Гью с контрабандой из Дагона. Четыреста ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть?

Он вытащил предмет, который тайно отобрал от меня и передал его комиссару, отвинтив гайку.

— Заказные формы,— сказал комиссар, осмотрев начинку болта.— Кто же изобрел такую уловку?

— Должен заявить,— пояснил Бутлер,— что все дело вел Гез. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за десять лет триста пятьдесят фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Гез обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно — тысяча двести фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гез и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гез был против Гарвея, так как, по крайней мнительности, опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что, как-никак, чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. После того как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и, несмотря на мои уговоры, человека бросили в шлюпку миль за пятьдесят от Дагона, а вмешаться как следует — значило потерять все, потому что Гез, взбесившись, способен на открытый грабеж,— я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрайту было просто обещано пятьдесят фунтов, и он был спокоен, зная, должно быть, что все пронюхает и добьется своего в большем размере, чем надеется Гез. Я ничего не говорил, ожидая, что будет

в Гель-Гью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более двух дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстояться, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий.

Гез утверждал, что переговоры с агентом по продаже ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но, когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре после того, как мы отшвартовались, и явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги.

«Вот все, что удалось получить,— так он заявил мне.— Всего три тысячи пятьсот. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на три тысячи пятьсот фунтов за тысячу сто килограммов».

Мне приходилось, по расчету моих и его денег,— причем он уверял, что болты стоили ему по три гинеи за сотню,— непроверенные остатки. Я выделился, таким образом, из расчета пятьсот за триста пятьдесят, и между нами произошла сцена. Однако доказать ничего было нельзя, поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше как за пять тысяч не может быть продана, что цена держится крепко.

Обдумав, как уличить Геза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку, сзади конторы, чтобы я слышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему четыре с половиной фунта за килограмм, а когда тот начал торговаться,— накинул пять и даже пять с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль и, как Гез уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить,— пошел к нему, но его не застал. Был я еще вечером,— раз, два, три раза,— и безуспешно. Наконец сегодня утром, около десяти часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гезу. Ответа я не получил, а, тронув за ручку двери, увидел, что она не заперта, и вошел. Может быть, Гез в это время ходил вниз жаловаться на Пегги.

Так или иначе, но я был здесь один в комнате, с неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или вый-

ти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то:

«Она должна явиться немедленно».

Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкаф, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я дополнил свой план, уже стоя в шкафу. План был очень прост: услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гез вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате бормоча:

«Я вам покажу! Вы меня мало знаете, подлецы».

Некоторое время было тихо. Гез, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая, потом вздохнул и сказал:

«Проклятая жизнь!»

Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал:

«Как?! Может ли быть?! Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!»

Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров; каких — не имею права сказать.

Бутлер замолчал, представляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Биче, которая заявила:

— Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Биче Сениэль. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля «Бегущая по волнам». Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.

— Я вижу уже,— ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение,— что вы будете допрошены как свидетельница.

Бутлер продолжал:

— Она отказалась войти, и я слышал, как Гез говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем, что напрасно засел в шкаф, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гез запер помещение на ключ, наружная лестница, которая находится под са-

мым окном, оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокоило.

Пока я соображал так, Гез возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гез бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гез сказал: «О мука! Лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкафа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер.

Гез был убит быстрее, чем я вышел из шкафа. Увидев меня, должно быть взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал. Слезы текли по его лицу; он крикнул: «Убью, как собаку!» — и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это, или я где-то слышал действительно,— я вспомнил странные слова: «Он получит пулю в лоб...» — и мою руку, без прицела, вместе с движением и выстрелом, повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гез уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места; но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках пробежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс, под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появлялись очень быстро и с силой. Так, я, например, узнав, что Гарвей идет к Гезу,— немедленно, с совершенным убеждением порешил, что если есть на меня какие-нибудь неведомые мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже

в голову. Одно стояло в уме: «Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все». Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать.

На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился.

— Дайте вашу руку, Бутлер,— сказала Биче. Она взяла его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее.— Вы тоже не виноваты, а если и были виноваты, не виновны теперь.— Она обратилась к комиссару: — Должна говорить я.

— Желаете дать показания наедине?

— Только так.

— Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей — вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.

Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Биче и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившейся изо всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял кэб; я нанял его и стал ожидать Биче, дополняя воображением немногие слова Бутлера,— те, что развертывались теперь в показание, тяжелое для женщины, и в особенности для девушки. Но уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

Глава XXIX

Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью: «Ее еще нет». Ожидание утомило меня более, чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Биче. Она поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли Биче ехать домой одна.

— Да и нет; хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.

Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Биче заговорила о Гезе.

— Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидела, как могу избавиться от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда!

— Увы, я не мог ничем вам помочь!

— Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в семь. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?

— «Бегущая по волнам»,— ответил я,— едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрайта и судно не будет выпущено из порта, пока права Сениэлей не установит портовый суд, а для этого необходимо снестись с Брауном.

— Я не понимаю,— сказала Биче, задумавшись,— каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей: Геза, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.

— Вы были очень испуганы?

— Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил, как в бреду, и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом, налево, тот дом, где я живу.

Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро пошла внутрь; я смотрел ей вслед. Она обернулась и, остановясь, пристально посмотрела на меня издали, но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу.

Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был

или озабочен, или в неудовольствии по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дэзи. Девушка извещала, что «Нырок» уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за вчерашнюю выходку. «Но это было смешно,— стояло в конце.— Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать».

Как я ни был полон Биче, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а поэтому эта милая и простая записка Дэзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на «Нырок» завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти,— привычка, которую ненавижу. Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук наконец не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезнуя, я получил ответ, что у него припадок неврастении.

— Как я вам себя рекомендовал,— это все верно,— говорил Кук, бешено разламывая спичечную коробку,— то есть, что я сплетник, сплетник по убеждению, по призванию, наконец, по эстетическому уклону. Но я также и неврастеник. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады! Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом сердце ореха — червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало грустно, и я должен отправиться домой, чтобы посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.

Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически.

— Я смотрю мрачно,— сказал он, шагая по комнате,

засунув руки за спину и смотря в пол.— Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними — черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги — ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упоительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих; они гласят: «Любовь навсегда!» — «Ты муж, я жена!» — «Люблю, и страдаю, и верю в невозможное счастье!» — «Жизнь так хороша!» — «Отдадимся веселью, а завтра — рука об руку, до гроба, вместе с тобой!» Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, лет десять. Я слышу там зевоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валясь на пол, ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом,— он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен,— думает муж,— и я очень любил танцевать вальс...» Кстати,— ввернул Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака,— вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля? О, я вам расскажу! Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот...

Видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неотложные дела, но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом:

— Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!

Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастении. Моей целью было увидеть Дэзи, не откладывая это на завтра, но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог, после утренней картины в портовой гостинице, внимать болтовне Кука.

Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств, и, думая о Дэзи, я помнил раскаянное стеснение,— вчера, когда я так растерянно отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал «Нырок», стоявший, как указала Дэзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шхун, выстроенных борт к борту.

Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.

— Одна Дэзи,— сказал матрос.— Проктор и Тоббоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю,— прибавил он.— Замечательное происшествие! По крайней мере вы избавлены от хлопот. Она внизу.

Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было четыре двери; не зная, в которую постучать, я остановился.

— Это вы, Больт? — послышался голос девушки.— Кто там? Войдите! — сказала она, помолчав.

Я постучал на голос; каюта находилась против трапа, и я в ней не был ни разу.

— Не заперто! — воскликнула девушка.

Я вошел, очутясь в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дэзи сидела меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел несколько иную Дэзи: она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.

— Я знала, что вы придете,— сказала девушка.— Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?

Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о Биче. Она слушала молча, побрасывая пальцем страницу открытой книги.

— Вам было страшно? — сказала Дэзи, когда я кончил рассказывать.— Я представляю,— какой ужас!

— Это еще так свежо,— ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил в углу висящее желтое платье с коричневой бахромой,— что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было.

— Чему, чему вы улыбнулись?! — вскричала Дэзи, заметив, что я посмотрел на платье.— Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?

— Разве можно на вас сердиться,— ответил я искренне.— Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать почему. Но вы понимаете.

— Я понимаю,— сказала девушка,— и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте.

Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым, невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дэзи поведала свои приключения. Оказалось, что Тоббоган пристал к толпе игроков, окружающих рулетку, под навесом, у какой-то стены.

— Сначала,— говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось,— он пообещал мне, что сделает всего три ставки и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют; будем веселиться и есть, но, как ему повезло,— ему здорово вчера повезло,— он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем кафе, и я, за выпитый там стакан шоколада, выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер,— ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Тоббогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. Это плохой знак. «Дэзи, ступай домой,— сказал он, взглядом умоляя меня.— Ты видишь, как мне везет. Это ведь для тебя!» В то время возникло

у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что́ представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Тоббогана и скрепя сердце стала отходить от того места все дальше, дальше, а когда подумала, что в сущности никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно: «Скорее, скорее, скорее!» Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там коечто примерила, но мне все было не по карману, наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано,— как вы сами, вероятно, убедились на ком-нибудь другом,— вставила Дэзи.— Нет, я ничего не хочу знать! Мне просто не повезло. Надо же было так случиться! Ужас что такое, если порассудить! Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же купила я полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом — туда-сюда... надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. О-го-го! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побыла в театре и малость, грешным делом, оттанцевала разка три. Одним словом — наш пострел везде поспел! — Дэзи расхохоталась.— Одна так одна! Ну-с, сбежав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас, и тут мне одна женщина оказала услугу. Вы знаете, какую. Я вернулась и стала представлять, что вы мне скажете. И-и-и... произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором,— так они были хороши,— и произвела фурор. Спасибо Проктору, он крепко рассердился на Тоббогана и тотчас послал матросов отвести меня на «Нырок». Представьте, Тоббоган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне и ему. Но мы теперь помирились.

— Милая Дэзи,— сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом,— я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся,— а мы должны встретиться,— то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.

— Никогда,— сказала она с важностью.— Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы — такой...

— То есть — какой?

— Вы — добрый.

Вставая, я уронил шляпу, и Дэзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку; наши руки встретились на поднятой вместе шляпе.

— Зачем так? — сказал я мягко.— Я сам. Прощайте, Дэзи!

Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго, затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко охватила руками, вся прижавшись и трепеща.

Что не было мне понятно — стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духу отделаться шуткой.

— Дэзи! — сказал я.— Дэзи!

— Ну да, Дэзи; ну, что же еще? — шепнула она.

— Вы невеста.

— Боже мой, я знаю! Тогда уйдите скорей!

— Вы не должны,— продолжал я.— Не должны...

— Да. Что же теперь делать?

— Вы несчастны?

— О, я не знаю! Уходите!

Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом; последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху я встретил поднимающихся по трапу Тоббогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.

— Были у нас? — сказал он.— Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован; взяли и матросов; да, почти всех. Отчего вы уходите?

— Я занят,— ответил я,— занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне.— Я дал адрес.— Я буду рад видеть вас.

— Этого я не могу обещать,— сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая.— Но если вы будете свободны в... Впрочем,— прибавил он с неловким лицом,— подробностей особенных нет. Мы утром уходим,

Пока я разговаривал, Тоббоган стоял, отвернувшись, и смотрел в сторону; он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженной к тому так наивно и грубо, которой он как бы вперед осуждал меня, я сказал:

— Тоббоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.

— Не знаю, нужно ли это,— неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза.— У меня на этот счет свое мнение.

Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее.

— Прощайте, Проктор! — сказал я шкиперу, пожимая обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Тоббоган двинулся и ушел, не обернувшись.— Прощайте! Я только что прощался с Дэзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение.

— Странно вы говорите,— отвечал Проктор.— Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. Плюньте на Тоббогана. Он сам не знает, что говорит.

— Да, он *не знает*, что говорит.

— Ну вот видите! — Должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился.— Люди встречаются и расходятся. Не так ли?

— Совершенно так.

Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Больт.

— Со мной-то и забыли попрощаться,— весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов. Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: — Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы, такие события! Прощайте, желаю удачи!

Он махнул кепкой и побежал обратно.

Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дэзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо; и я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать? Но, кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо,— не

было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случаен и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем.

Я был мрачен и утомлен; устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествиях в Гель-Гью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к семи, после заката солнца, у Биче Сениэль.

Глава XXXI

Я застал в гостиной Биче и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена, Ботвель озабочен и напряжен.

— Много удалось сделать,— заявил он.— Я был у следователя, и он обещал, что Биче будет выделена из дела как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Биче, вы будете хоть еще раз покупать корабли?

— Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело,— обратилась она ко мне,— чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову. Но нельзя было подумать.

— Негодяй умер,— сказал Ботвель.— Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей,— вы, неповинный и не замешанный ни в чем человек,— каково было *вам* высидеть около трупа эти часы?

— Мне было тяжело по другой причине,— ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей на меня с раздумьем и интересом.— Потому, что я ненавидел положение, бро-

сившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они хотя и просты по существу, но странны, как встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке.

После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных, для каждого лица, условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Биче потребовала бумагу, что Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Биче сказала:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Я думал, что приду к вам.

Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшее ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила:

— Это я знаю. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...

Я ждал, встревоженный ее спокойствием больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась.

— Еще раз благодарю за участие,— сказала Биче.— Ботвель, вы принесли сломанный карандаш.

— Действительно,— ответил Ботвель.— Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю,— вдруг очинится сам! Гарвей согласен со мной.

— В принципе — да!

— Однако возьмите ножик,— сказала Биче, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом.— Это и есть нужный принцип.

Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Биче недоверчиво пощатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу.

Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ею одной линии. Под этим чертежом Биче нарисовала контурные фигуры: мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни.

— Я не люблю рисовать,— сказала она и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой черту.— Нет. Это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди

двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?

— По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.

— Я говорил,— сказал Ботвель.

— Но дело простое,— настаивала Биче.— Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.

— Да, между нас это так бы было,— без бумаг и формальностей. Но у дельца есть культ формы, а так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество,— незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.

— Я еще подумаю,— сказала Биче, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией.— Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Да, я не знаю. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?

— Почти наверное,— ответил я.— Но почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый *такой* шаг — самой?

— Вы правы. Так будет приятнее и ему и мне. Хотя... Нет, вы действительно правы. У нас есть план,— продолжала Биче, устраняя озабоченную морщину, игравшую между тонких бровей, меняя позу и улыбаясь.— План вот в чем: оставить пока все дела и отправиться на «Бегущую». Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства! Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться.

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Биче, так как вошли ее род-

ственники, хозяева дома,— старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых мяча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедясь, что они ничего не знают о моей истории.

— Вы приехали повеселиться, посмотреть, как тут гуляют? — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города.— Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал двенадцать лошадей. Карльсон выпустил «Океанию»: замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лакотта в саду фонтан бил вином... О, как мы танцевали!

— Все не то,— сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл.— Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча восемьсот... ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули три пули. Из него — семь. Он помер.

Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох,— стояли с трудом, и я попрощался с ними.

— Благодарю вас,— сказала старушка неожиданно твердым голосом,— вы помогли Биче устроить все это дело. Да, я говорю о пиратах. Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов.

— Очень, очень много пиратов! — сказал старик, печально качая головой.

Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Биче и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом:

— Все не то... не то... Очень много пиратов!

Глава XXXII

Отъезжая с Биче и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что стесняет меня. Я был неясен Биче, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетясь с явной линией, образовала узлы.

В экипаже я сидел рядом с Биче, имея перед собой Ботвеля, который, по многим приметам, был для Биче

добрым приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры,— того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Биче, так же, как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импровизированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессий и кортежей; задавала тон самая ликующая часть населения — мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удили серпантином.

Выбравшись на набережную, Ботвель приказал вознице ехать к тому месту, где стояла «Бегущая по волнам», но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, почему наняли шлюпку. Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света, погрузясь в сумерки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал:

— Это она.

— Рады ли вы? — спросил я, наклоняясь к Биче.

— Едва ли.— Биче всматривалась.— У меня нет чувства приближения к той самой «Бегущей по волнам», о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотом, два поплевавших на руки молодца-гиганта: «Замысел» и «Секрет».

— Это пройдет,— заметил Ботвель.— Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.

— Она как бы больна,— сказала Биче.— Недуг формальностей... и довольно жалкое прошлое.

— Сбилась с пути,— подтвердил Ботвель, вызвав смех.

— Говорят, нашли труп,— сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле.— У нас разное говорили...

— Вы ошибаетесь,— возразила Биче,— этого не могло быть.

Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.

— Эй, на «Бегущей!» — закричал, вставая, Ботвель.

Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который, после недолгих переговоров, приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап.

Тотчас прибежал еще один человек; за ним третий. Это были Гораций и повар. Мулат шумно приветствовал меня. Повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.

— Наконец-то! — сказала Биче тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась.— В каком же положении экипаж?

Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо; видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой. На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос; все остальные были арестованы или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Биче, стараясь уловить ее чувства.

Она еще не садилась. Пока Ботвель разговаривал с поваром и агентом, Биче обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете.

— Ну, так расскажите еще,— сказала Биче, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет, незначительный и красноречивый.— Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли слева от трапа? Да? Тогда пойдемте в нее.

Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче положение действовавших лиц и — как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза.

— Начинаю представлять,— сказала Биче.— Очень все это печально. Очень грустно! Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх.

— То чувство не проходит?

— Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было!

— Вы оскорблены?

— Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, взойдемте наверх.

Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня, с волнением — и не ошибся: Биче остановилась у трапа.

— Вот отсюда,— сказала она, показывая рукой вниз за борт.— И — один! Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один!

— Как — один?! — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант. Но было уже поздно. Биче смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Биче, и это передалось ей.

— Гарвей,— сказала она с нежной и прямой силой, впервые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе,— Гарвей, скажите мне правду!

Глава XXXIII

— Я не лгал вам,— ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Биче дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя.— Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Биче, я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, «Бегущая по волнам».

— Но, Гарвей! — сказала Биче. При слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно.— Говорите тише!.. Я слушаю.

Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства,

когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек — ударить выгибом дерева этого самодельного оружия но земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело не ладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула.

Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Биче о том, что сказала мне Фрези Грант; как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь.

— Не говорить *мне*,— произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом.— Это надо понять. Но отчего вы сказали?

— Вы должны знать, отчего, Биче.

— С вами раньше никогда не случалось таких вещей?..— спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.

— Нет, никогда.

— А голос, голос, который вы слышали, играя в карты?

— Один-единственный раз.

— Слишком много для одного дня,— сказала Биче, вздохнув. Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью; потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: — Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегодня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та — другая девушка? Вы ее встретили?

— Не знаю,— сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дэзи мне до того не приходила в голову, но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи.— Биче, от вас зависит,— я хочу думать так,— от вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня!

— Я вас очень мало знаю, Гарвей,— ответила Биче серьезно и стесненно.— Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что я — Биче Сениэль, и это мой вам ответ.

Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз:

— Ботвель! Мы едем!

Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих

пальцах, и спустился к лодке, где Биче и Ботвель ждали меня. Мы направились в город. Ботвель рассказал, что, как он узнал сейчас, «Бегущую по волнам» предположено оставить в Гель-Гью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.

Биче всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла:

— Ботвель, я навалю па вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона пли... как придется.

— Что?! — крикнул Ботвель тоном веселого ужаса.

— Разве вы не поняли?

— Потом поговорим,— сказал Ботвель и, как лодка остановилась у ступеней каменного схода набережной, прибавил: — Чертовски неприятпая история — все это вместе взятое. Но Биче неумолима. Я вас хорошо знаю, Биче!

— А вы? — спросила девушка, когда прощалась со мной.— Вы одобряете мое решение?

— Вы только так и могли поступить,— сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.

— Что же другое? — Она задумалась.— Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей! Я завтра извещу вас.

Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота, с примесью явного недовольства,— мной или собой? — я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.

Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Биче. Мне был нужен шум толпы. Заметя свободный кэб, взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрези Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кэба. Вначале я тупо и оглушенно стоял,— так было здесь тесно от движения и беспрерывных, следующих один другому в тыл, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль — была: Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах; его пьедестал образовал конус цветов. небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол; он теперь

был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял, прижатый движением, как, поддаваясь беспрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны, противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бавс, Кук и другие, известные мне по вчерашней сцене.

Попав в центр, где движение, по точному физическому закону, совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг «Бегущей». За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на две или на три головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне, в порыве благодарности, что он занимает его с утра,— импровизированный промысел, наградивший пятнадцатилетнего сорванца золотой монетой.

Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего — эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, опахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади,— соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над площадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользивших горизонтально. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения; здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания.

Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета, с ладьеобразным низом и высоким сиденьем для кучера,— но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон-Кихот, погоняя четверку богато убранных золотой, спадающей до земли сеткой лошадей огромным копьем. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и Робинзонов; они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание искусно сделанное двухсаженное сердце — из алого плюша. Оно было как живое; вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок; роль амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьем, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке, но, как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов; с правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика-нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление; и я, следя за ней, еще долго видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательства, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что стряслось. Образовался прорыв; причем передние выезды отдалились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое, странного вида, сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик, с длинным

навесом спереди; его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей, лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи, причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа; часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям; другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх; там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец.

Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень: так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен «Бегущей». Внизу сбилась дико загремевшая толпа, я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз.

— Стегайте, бейте лошадей! — закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя.

Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов двадцать, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор — стеариновую свечу, но поворот штамбы сунул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящи-

ка, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках; другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима.

Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время два-три человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но, так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был естественно и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителем; но я поспешил выбраться. Повсюду раздавались крики, что нападение — дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом, карнавал был смят, превращен в чрезвычайное, центральное событие этого вечера; по всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома.

Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слушать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

Глава XXXIV

Я проснулся один, в десять часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал, и, так как был только рад случайному одиночеству, я более не тревожил себя мыслями о его судьбе.

Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент «Рифа». Догадываясь, что могу увидеть Биче Сениэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Биче с искренним, невольным возгласом:

— Слава богу, что это вы, Биче, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.

Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль.

— Как вы бледны! — сказала, помолчав, девушка.— Да, я уезжаю; сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано потому, что... это необходимо.

Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Биче, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным, тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Биче, я видел лишь ее одну, и даже одна потерянная минута была страданием; но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извиняясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен. Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Геза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии.

Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал:

— К сожалению, я не тот, которого вы ищете. Вы — жертва случайного совпадения имен: тот Томас Гарвей, который вам нужен, сегодня не ночевал. Он записан здесь под фамилией Ариногел Кук, и, так как он мне сам в том признался, я не вижу надобности скрывать это.

Благодаря тяжести, лежавшей у меня на сердце, потому что слова Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие. Бреннер насторожился; даже его уши шевельнулись от неожиданности.

— Одно слово... прошу вас... очень вас прошу,— поспешно проговорил он, видя, что я намереваюсь уйти.— Арингел Кук?.. Томас Гарвей... его рассказ... может быть, вам известно...

— Вы должны меня извинить,— сказал я твердо,— но я очень занят. Единственное, что я могу указать,— это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он — у стола, который занимает добровольная стража «Бегущей». На нем розовая маска и желтое домино.

Биче слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, повоpотясь, кинулся аршинными шагами уловлять Кука.

Я подошел к Биче.

— Не будет ли вам лучше в саду? — сказал я.— Я вижу в том углу тень.

Мы прошли и сели; от входа нас заслоняли розовые кусты.

— Биче,— сказал я,— вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?

Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас же перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне открытое упорное выражение.

— Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос,— произнесла девушка.— Вчера... Гарвей! Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда немного и — много. Я — женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим это пока. Вы мне рассказали о Фрэзи Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслэя; я не была с *вами* тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады! Но, если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы!

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам: два желтых платья, две «Бегущие по волнам» и — два

человека в одном! — Она рассмеялась, но неспокоен был ее смех.— Да, я очень рассудительна,— прибавила Биче, задумавшись,— а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче,— сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя,— Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, *этого не было*?!

— Биче, это было,— сказал я.— Простите меня.

Она взглянула с легким задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала.

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?

Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биче последний раз; последний раз говорю с нею; моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить.

— Да, я был там,— сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе, при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Биче в необходимость затянуть конченый разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали.

— Итак, вы едете?

— Я еду сегодня.— Она протянула руку.— Прощайте, Гарвей,— сказала Биче, пристально смотря мне в глаза.— Благодарю вас от всей души. Не надо; я выйду одна.

— Как все распалось,— сказал я.— Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее,— не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Биче! Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.

В ее лице тронулись какие-то оставшиеся непроизнесенными слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно, не имея сил, ни желания снова начать жить,— у себя в номере. Я не помнил, как поднялся

сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Биче.

— Если так,— сказал я в отчаянии,— если, сам не зная того, я стремился к одному горю,— о Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть! Избавь меня от страдания!

Надеясь, что мне будет легче, чем я уеду из Гель-Гью, я сел вечером в шестичасовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант,— за некий свой, тщательно охраняемый угол души,— долго волновали меня, как пример малого знания нашего о людях.

Я приехал в Лисс в десять часов вечера, тотчас направясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло,— меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный и праздничный вид.

— Ах,— шепотом сказал он,— едва ли доктор может... Я даже не знаю, где он. Они бродят по всему дому — он и его жена. Тут у нас такое произошло! Только что, перед вашим приходом...

Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга тихо, как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя.

Я удалялся с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая среди вечерней тишины напомнила мне внезапный порыв Дэзи: единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит:

— «Да,— что же мне теперь делать?»

Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсказывая ответ:

— «Гарвей,— *этого не было?»*

— Было,— ответил я опять, как тогда.— Это было, Биче, простите меня!

Глава XXXV

Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже пять лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения.

Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведование иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмер и повел странную, двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего — вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспоминал о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее расстояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах.

Мои письменные показания, посланные в суд, происходивший в Гель-Гью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, ко-

торая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии; вероятно, по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его, как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле; Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Биче Бутлер был осужден всего на пять лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся.

Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дэзи, ворочая гремящее, непокидающее раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или же сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращает мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет. В противоположность Биче, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства,— неизвестно где находящаяся Дэзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но, когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове,— я спрашивал себя:

— Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?

В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна,— большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее

подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что, собственно, привлекло нас, почему такое рассматривание подобно разговору,— настоящему, увлекательному общению. Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика-корабля, который, при полной соразмерности частей, способность принять фунтов пять груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческом,— я решил, что каравелла будет моя.

Вдруг она исчезла. Исчезло все: улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг,— но не настоящий, а испуг радости, смешанной с нежеланием освободиться и, должно быть, с глупой улыбкой, помешали мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что́ сейчас будет, и, мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил:

— Кто это такой?

— «Бегущая по волнам»,— ответил голос, который старался быть очень таинственным.— Может быть, *теперь* угадаете?

— Дэзи?! — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном.

— Простите мою дерзость,— сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть.— Ну, мне, однако, везет! Ведь это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади! Вы испугались?

Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал мосек; теперь эта собака смотрела на меня, как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести.

— Дэзи, милая Дэзи,— сказал я,— я счастлив вас видеть! Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна! Ну, здравствуйте!

Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко, руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.

— Я вас люблю, Гарвей,— сказала она серьезно и кротко.— Вы будете мне как брат, а я — ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант?! Вы боялись мне сказать это?! С вами *это* случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что — так!

— Это — так,— ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор.— Вы одна в Леге?

Зная, что́ я хочу знать, она ответила, медленно покачав головой:

— Я одна, и я не знаю, где теперь Тоббоган. Он очень меня обидел тогда; может быть, и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала и сказала также, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним, плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал; еще и еще. Но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Тоббоган уехал в Кассет. Я здесь у жены Проктора; она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома,— а у нас всего три тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку! Представьте себе! Теперь — вы. Что вы здесь делаете, и сделалась ли у вас — жена, которую вы искали?

Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами.

— О, простите меня! Язык мой — враг мой! Ваша сестра очень глупа! Но вы меня вспоминали немного?

— Разве вас можно забыть? — ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дэзи.— Да, у меня сделалась жена, вот... теперь. Дэзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.

Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах свечки нескромного любопытства.

— Уйдем отсюда,— сказала Дэзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар.— Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я буду сдержаняой, но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Собака... ты тут. Ее зовут Хлопс. А надо бы назвать Гавс. Гарвей!

— Дэзи?!

— Ничего. Пусть будет нам хорошо!

ЭПИЛОГ

I

Среди разговоров, которые происходили тогда между Дэзи и мной и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения,— особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план, почему его пришлось сократить. К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч, весьма помогших осуществить наше желание. Зная, что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему приятелю Товалю, вкус которого, его умение заставить вещи говорить знал еще с того времени, когда Товаль имел собственный дом. Он скоро понял меня,— тотчас, как увидел мою Дэзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшееся два года.

Для Дэзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать, поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общественности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество,— хотя оно и менялось,— такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дэзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама, и только тогда, когда ей хотелось самой.

Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и

понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи или чистенькие, новенькие домики, с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном, запертой глухой дверью среди жасминной заросли; мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней; могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с затаенным коварством.

Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дэзи съездить в Леге посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы я ей ни предложил, она немедленно согласилась и, по своему обыкновению, не спала до двух часов, все размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге и от станции проехали на лошадях к нашему дому, о котором я сказал ей, что здесь мы остановимся на два дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому.

На ее лице появилось так хорошо мне известное, стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал.

— Какой славный дом! — сказала Дэзи.— И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья.— Таковы бывали ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья,— ответил я.— Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что́ хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тенью высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пылкие цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпив-

шуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?» Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо,— так, что наступает на сердце.

Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказала Дэзи.— Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев,— ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет,— произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину,— хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина,— сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты,— ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой.— Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер! Ты говорил, что так зовут этого человека.— Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: «ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро рыедет».

— Ты что-то ешь? — сказала моя жена, заглядывая мне в лицо.— Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но, Дэзи,— умоляюще вздохнул Товаль,— чем же я виноват, что судья — здесь?!

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дурочка? — поставила она вопрос прямо.— Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы — тоже, *может быть,*— здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи,— сказал я, взяв ее за руку,— оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаля за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товаля, на Товаля и на меня.

— Поклянись,— сказала она, побледнев от радости,— поклянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. Тому же подвергся Товаль, старавшийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и, когда он наконец кончился, в глазах Дэзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала:

— Не кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?

— Никогда!

— Ну, а у меня жалкий характер: как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят; что мне не будет уже хорошо...

II

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней, наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по поводу ее желтого платья с ко-

ричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бегущей по волнам», и о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды начались воспоминания и продолжались, с перерывами, целый день, за завтраком, обедом, прогулкой, между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах в Гель-Гью и на «Нырке», который, кстати сказать, разбился год назад в рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно вставало и требовало обсуждения, и мы немедленно принимались переживать тот или другой случай, с жалостью, что он не может снова повториться — теперь,— без неясного своего будущего. Было ли это предчувствие, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта,— сказать может лишь нелюбовь к своей жизни,— равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сенизль, которую я любил.

— Вот эти глаза видели Фрези Грант,— сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам.— Вот эта рука пожимала ее руку.— Она прикоснулась к моей руке.— Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдумаешься *туда*,— но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпать. И это не перейдет ни в кого; оно только в тебе!

Стемнело; сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь и улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал:

— «Бегущая по волнам!»

— Филатр! — вскричал я, подскакивая и вставая.— Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из виду после тех трех месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили,— не то в Салер, не то в Дибль. Я сам провел два года в разъездах. Как вы нас разыскали?

Мы вошли в дом, и Филатр рассказал нам свою историю. Дэзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись, по своему обыкновению, досказывать за Филатра, если он останав-

ливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда невпопад, как то или это происходило,— верный признак, что она слушает очень внимательно.

Оказалось, что Филатр был назначен в колонию прокаженных, миль двести от Леге, вверх по течению Тавассы, куда и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего.

— След найден,— сказал Филатр,— я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем «Мария Целеста», о которой рассказывали вы на «Нырке». Это...

— «Бегущая по волнам»! — быстро подстегнула его плавную речь Дэзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу».

— Вы правы. Я упомянул «Марию Целесту». Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив; я и два служащих биологической станции из Оро, с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве, по правую сторону острова Капароль, и мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дрова. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте сотни небольших островков, и маневры катера по изливам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся лиственным навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе и проснулся рано, хотя уже рассвело.

Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшее в двух кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня, сонного, швырнули с постели в воду, я взобрался на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, разодрав в клочья куртку: так было густо заплетено вокруг, среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это была «Бегущая по волнам», судно, покинутое экипажем, оставленное воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала

на боку, на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, так как весла лежали рядом, достиг судна, взобравшись на палубу по якорному тросу, с кормы.

По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой; у бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами, раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво-зловещую жизнь, скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно,— нравственно душно, как если бы и меня похоронили здесь, причислив к жукам. Я опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик; везде был голый беспорядок; полный мусора и москитов. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я предоставил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к «Бегущей», и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшимся забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы, в надежде открыть следы людей. Но журнала и никаких бумаг не было; лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика, застрял обрывок письма; он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь.

Могу ли я надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел... Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне.

Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов-деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные, красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную, по всему устойчивому на их пути, армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь взад-вперед

очень близко от клотика грот-мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придержанный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснувшись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна.

Дэзи, став тихой, неподвижно смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза.

— Что с тобой? — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр.

— О,— прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться.— Это так прекрасно! И так грустно, и так хорошо, что это все — так!

Я имел глупость спросить, чем она так поражена.

— Не знаю,— ответила Дэзи, вытирая глаза.— Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор.

Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой.

Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе «Бегущей». Лишь спустя два месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана Эку Летри за полцены и ушла в Аквитэн тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, не известного никому плана, или спаслась в дебрях реки от преследований врага; вымер ли ее экипаж от эпидемии, или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей? — узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Тавассе стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей, но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. «Бегущая» была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер, так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно, с репутацией, питающей суеверия.

— Но этого не довольно для меня и вас,— сказал Филатр, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сениэлей.— Не дальше как вчера я встретил молодую даму — Биче Сениэль.

Глаза Дэзи высохли, и она задержала улыбку.

— Биче Сениэль? — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе.

— Биче Каваз.

Филатр задержал паузу и прибавил:

— Да. На пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Каваз, был с ней. Его жене нездоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас. Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства, иного порядка, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля «Бегущая по волнам», я счел нужным рассказать, что́ видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из покойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне в свою очередь о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне вас, на шлюпке, вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гель-Гью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Биче Каваз о ее отношениях к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости,— издали, как берег смотрит на другой берег, через синюю равнину воды.

— «Он мог быть более близок вам, дорогая Биче,— сказал Гектор Каваз,— если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».

— «Нет, жизнь,— ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой.— В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

— «Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.

— «Почему? — она искренне удивилась.— Мне хочется всегда быть только собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»

— «Или грандиознее»,— ответил я, соглашаясь с ней. У нее был небольшой жар — незначительная просту-

да. Я расстался под живым впечатлением ее личности,— впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил Товаля, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что я тот самый доктор Филатр, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бросив дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче Каваз просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.

Он порылся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на Дэзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».

— Только-то...— сказала разочарованная Дэзи.— Я ожидала большего.— Она встала, ее лицо загорелось.— Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит,— там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет». И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит,— дано всем; возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!»

Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр,— так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

— Ну вот,— сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая,— добрый вечер и тебе, Фрези!

— Добрый вечер! — услышали мы с моря.— Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...

1925—1926 гг.

Писатель Грин — Александр Степанович Гриневский — умер в июле 1932 года в Старом Крыму — маленьком городе, заросшем вековыми ореховыми деревьями.

Грин прожил тяжелую жизнь. Все в ней, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обывателя. Было непонятно, как этот угрюмый человек, не запятнав, пронес через мучительное существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Биография Грина — беспощадный приговор дореволюционному строю человеческих отношений. Старая Россия наградила Грина жестоко — она отняла у него еще с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня.

Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца,— землю, не нанесенную на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина.

«Я всегда замечал,— пишет Максим Горький в книге «Мои университеты»,— что людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь».

Эти слова целиком относятся к Грину.

Русская жизнь была ограничена для него обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом. Но где-то за чертой серого горизонта, сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав. Там жили люди, коричневые от солнца,— золотоискатели, охотники, художники, ноунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но прежде всего — моряки.

Жить без веры в то, что такие страны цветут и шумят где-то на океанских островах, было для Грина слишком тяжело, порой невыносимо.

Пришла революция. Ею было поколеблено многое, что угнетало Грина: звериный строй прошлых человеческих отношений, эксплуатация, отщепенство — все, что заставляло Грина бежать от жизни в область сновидений и книг.

Грин искренне радовался ее приходу, но прекрасные дали нового будущего, вызванного к жизни революцией, были еще неясно видны, а Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением.

Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно. Он хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома людей будущего, участвовать вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и веселой жизнью. Действительность не могла дать этого Грину тотчас же. Только воображение могло перенести его в желанную обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей.

Грин умер на пороге социалистического общества, не зная, в какое время умирает. Он умер слишком рано.

Смерть застала его в самом начале душевного перелома. Грин начал прислушиваться и пристально присматриваться к действительности. Если бы не смерть, то, может быть, он вошел бы в ряды нашей литературы как один из наиболее своеобразных писателей, органически сливших реализм со свободным и смелым воображением.

Отец Грина — участник польского восстания 1863 года — был сослан в Вятку, работал там счетоводом в больнице, спился и умер в нищете.

Сын Александр — будущий писатель — рос мечтательным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. Он увлекался множеством вещей, но ничего не доводил до конца. Учился он плохо, но запоем читал Майна Рида, Жюля Верна, Густава Эмара и Жаколио.

«Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка»,— говорил потом об этом времени Грин.

Теперешней молодежи трудно понять, как неотразимо действовали эти писатели на ребят, выросших в прежней русской глуши. «Чтобы понять это,— говорит Грин в своей автобиографии,— надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту обстановку напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке».

С восьми лет Грин начал напряженно думать о путешествиях. Жажду путешествий он сохранил до самой смерти. Каждое путешествие, даже самое незначительное, вызывало у него глубокое волнение.

Грин с малых лет обладал очень точным воображением. Когда он стал писателем, то представлял себе те несуществующие страны, где происходило действие его рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз исхоженные места.

Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог отметить каждый поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки и расположение домов, мог, наконец, перечислить все корабли, стоящие в несуществующих гаванях, со всеми их морскими особенностями и свойствами беспечной и жизнерадостной корабельной команды.

С ранних лет Грин устал от безрадостного существования.

Дома мальчика постоянно били, даже больная, измученная домашней работой мать с каким-то странным удовольствием дразнила сына песенкой:

А в неволе
Поневоле,
Как собака, прозябай!

«Я мучился, слыша это,— говорил Грин,— потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее».

С большим трудом отец отдал Грина в реальное училище.

Из училища Грина исключили за невинные стихи о своем классном наставнике.

Отец жестоко избил его, а потом несколько дней обивал пороги у директора училища, унижался, ходил к губернатору, просил, чтобы сына не исключали, но ничто не помогло.

Отец пытался устроить Грина в гимназию, но его туда не приняли. Город уже выдал маленькому мальчику неписаный «волчий билет». Пришлось отдать Грина в городское училище.

Мать умерла. Отец Грина вскоре женился на вдове псаломщика. У мачехи родился ребенок.

Жизнь шла по-прежнему без всяких событий, в тесноте убогой квартиры, среди грязных пеленок и диких ссор. В училище процветали зверские драки, и кислый запах чернил крепко въедался в кожу, в волосы, в поношенные ученические блузы.

Мальчику приходилось перебелять за несколько копеек сметы городской больницы, переплетать книги, клеить бумажные фонари для иллюминации в день «восшествия на престол» Николая Второго и переписывать роли для актеров провинциального театра.

Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью.

Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье.

Мечтами об «ослепительном случае» и радости полны все рассказы Грина, но больше всего — его повесть «Алые паруса». Характерно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей.

«Алые паруса» — поэма, утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими же руками совершать чудеса.

Уныло и однообразно тянулась вятская жизнь, пока весной 1895 года Грин не увидел на пристани извозчика и на нем двух штурманских учеников в белой матросской форме.

«Я остановился,— пишет об этом случае Грин,— и смотрел как зачарованный на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира. Я не завидовал. Я испытывал восторг и тоску».

С тех пор мечты о морской службе, о «живописном труде мореплавания» овладели Грином с особенной силой. Он начал собираться в Одессу.

Семье Грин был в тягость. Отец раздобыл ему на дорогу двадцать пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном, ни разу не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

Грин взял с собой акварельные краски: он был уверен, что будет рисовать ими где-нибудь в Индии, на берегах Ганга,— взял нищенский скарб и в состоянии полного смятения и ликования уехал из Вятки. «Я долго видел на пристани в толпе,— рассказывает об этом отъезде Грин,— растерянное седобородое лицо отца. А мне грезилось море, покрытое парусами».

В Одессе произошла первая встреча Грина с морем — тем морем, что залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

О море написано множество книг. Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из этих писателей не шумят и переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов — Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов Грин вложил черты всех виденных им портов Черного моря.

Мечта была достигнута. Море лежало перед Грином как дорога чудес, но старое вятское прошлое тотчас же дало себя знать. Грин с особенной остротой почувствовал у моря свою беспомощность, ненужность и одиночество.

«Этот новый мир не нуждался во мне,— пишет он.— Я чувствовал себя стесненным, чужим здесь, как везде. Мне было немного грустно».

Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой.

Грин неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароходы, но ему или грубо отказывали, или высмеивали в глаза: какой мог получиться матрос из хилого юноши с мечтательными глазами!

Наконец Грину «повезло». Его взяли без жалованья учеником на пароход, ходивший из Одессы в Батум. На нем Грин сделал два осенних рейса.

От этих рейсов у Грина осталась память только о Ялте и хребте Кавказских гор.

«Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невиданного города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетал запах цветов, теплые порывы ветра. Далеко слышались голоса и смех.

Остальная часть рейса мною забыта, кроме не исчезающего с горизонта шествия снежных гор. Их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли мир громадных миров. Это была цепь высоко вознесенных стран сверкающего льдами молчания».

Вскоре капитан ссадил Грина с парохода: Грин не мог платить за продовольствие.

Кулак, хозяин херсонского «дубка», взял Грина подручным к себе на шхуну и помыкал им, как собакой. Грин почти не спал; вместо подушки хозяин дал ему разбитую черепицу. В Херсоне его вышвырнули на берег, не заплатив денег.

Из Херсона Грин вернулся в Одессу, работал в портовых пакгаузах маркировщиком и сделал единственный заграничный рейс в Александрию, но его уволили с парохода за столкновение с капитаном.

Из всей одесской жизни у Грина осталось хорошее воспоминание только о работе в портовых складах:

«Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь,— особенно, если грело солнце».

Грин устал от одесской жизни и решил вернуться в Вятку. Домой он ехал «зайцем». Последние двести километров пришлось идти пешком по жидкой грязи: стояло ненастье.

В Вятке отец спросил Грина, где его вещи.

— Вещи остались на почтовой станции,— солгал Грин.— Не было извозчика.

«Отец,— пишет Грин,— жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал, а через день, когда выяснилось, что никаких вещей нет, спросил (от него сильно пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком. Где твои вещи? Ты изолгался!»

Опять начиналась проклятая вятская жизнь.

Потом были годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни, или, как было принято выражаться в обывательских семьях, поиски «запятня». Он долго не выдержал в Вятке и уехал в Баку. Жизнь в Баку была так отчаянно тяжела, что у Грина осталось о ней воспоминание как о непрерывном холоде и мраке. Подробностей он не запомнил.

Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить пожары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом. Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.

Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина. Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни — преждевременная старость — остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублевую бумажку.

Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.

Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.

Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку.

Жизнь Грина, особенно бакинская, многими своими чертами напоминает юность Максима Горького. И Горький, и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом.

В Баку Грин дошел до последней степени нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых или измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, вы-

сокой и беззаботной. Наконец он нашел такое лицо — лицо девушки — и описал его в своем дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека, который начал издеваться над Грином и незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.

Из Баку Грин снова вернулся в Вятку, где пьяный отец требовал от него денег. Но денег, конечно, не было.

Надо было снова придумывать какие-нибудь способы, чтобы тянуть существование. Грин был неспособен на это. Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал — искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

Грин увидел Урал — дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он подбирал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.

Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком-странником (оказавшимся впоследствии убийцей и вором), был дровосеком и сплавщиком.

После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычова — знаменитого Булычова, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.

Но окончилась и эта работа. Казалось, жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но еще тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» — доктора или инженера.

Грин служил в пехотном полку в Пензе.

В полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги.

«С тех пор,— говорит Грин,— жизнь повернулась ко мне разоблаченной, казавшейся раньше таинственной, стороной. Мой революционный энтузиазм был беспределен. По первому предложению одного эсера-вольноопределяющегося, я взял тысячу прокламаций и разбросал их во дворе казармы».

Прослужив около года, Грин дезертировал из полка и ушел в революционную работу. Эта полоса его жизни малоизвестна.

Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий, увлекательный подпольный оратор.

Но в опасностях и напряжении революционной работы Грин оставался таким же созерцателем, как и раньше. Недаром он сам говорил о себе, что жизненные явления его интересовали преимущественно зрительно,— он любил смотреть и запоминать.

В Севастополе Грин жил осенью — той ясной крымской осенью, когда воздух кажется прозрачной теплой влагой, налитой в границы улиц, бухт и гор, и малейший звук проходит по ней легкой и долго не смолкающей дрожью. «Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы»,— признавался Грин. Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган — это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсве-

тов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации, и кремнистой земли, и торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды.

Осенью 1903 года Грин был арестован в Севастополе на Графской пристани и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года.

В севастопольской тюрьме Грин впервые начал писать. Он очень застенчиво относился к своим первым литературным опытам и никому их не показывал.

Грин мало рассказывал о себе, он не успел окончить свою автобиографию, и потому многие годы его жизни почти никому не известны.

После Севастополя в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но с дороги бежал, пробрался в Вятку и ночью пришел к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ. С чужим паспортом Грин уехал в Петербург, и здесь в газете «Биржевые ведомости» этот рассказ был напечатан.

Это была первая настоящая радость в жизни Грина. Он едва не расцеловал ворчливого газетчика, у которого купил номер газеты со своим рассказом. Он уверял газетчика, что рассказ написан им, но старик не верил и подозрительно смотрел на голенастого веснушчатого молодого человека. От волнения Грин не мог идти, у него дрожали и подгибались ноги.

Работа в эсеровской организации уже явно тяготила Грина. Он вскоре вышел из нее, отказавшись от порученного ему покушения. Он был захвачен мыслями о писательстве. Десятки замыслов отягощали его, он торопливо искал форму для них, но первое время не находил.

Он писал еще робко, с оглядкой на редактора и читателя, писал с тем хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа насмешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово. Грин еще боялся бури сюжетов, которая бушевала в нем и требовала освобождения.

Первый рассказ, написанный Грином без оглядки, лишь в силу свободного внутреннего побуждения, был «Остров Рено». В нем уже были заключены все черты будущего Грина. Это простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по приказу командира.

Грин начал печататься. Годы унижений и голода, правда очень медленно, но все же уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом.

Вскоре Грин опять был арестован по старому делу о принадлежности к партии эсеров, просидел год в тюрьме и был выслан в Архангельскую губернию — в Пинегу, а потом в Кегостров. В ссылке он много писал, читал, охотился и, по его словам, даже отдохнул от прошлой каторжной жизни.

В 1912 году Грин вернулся в Петербург. Здесь начался лучший период его жизни, своего рода «болдинская осень». В то время Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он пе-

речитывал множество книг, хотел все узнать, испытать, перенести в свои рассказы.

Вскоре он повез отцу в Вятку свою первую книгу. Грину хотелось порадовать старика, уже примирившегося с мыслью, что из сына Александра вышел никчемный бродяга. Отец Грину не поверил. Понадобилось показать старику договоры с издательствами и другие документы, чтобы убедить его, что Грин действительно стал «человеком». Эта встреча отца с сыном была последней: старик вскоре умер.

Февральская революция застала Грина в Финляндии, в поселке Лунатиокки; он встретил ее с восторгом. Узнав о революции, Грин тотчас же пешком отправился в Петроград,— поезда уже не ходили. Он бросил в Лунатиокках все свои вещи и книги, даже портрет Эдгара По, с которым никогда не расставался.

Почти все, кто писал о Грине, говорят о близости Грина к Эдгару По, к Хаггарду, Джозефу Конраду, Стивенсону и Киплингу.

Грин любил «безумного Эдгара», но мнение, что он подражал ему и всем перечисленным писателям, неверно: Грин многих из них узнал, будучи уже сам вполне сложившимся писателем.

Он очень ценил Мериме и считал его «Кармен» одной из лучших книг в мировой литературе. Грин много читал Мопассана, Флобера, Бальзака, Стендаля, Чехова (рассказами Чехова Грин был потрясен), Горького, Свифта и Джека Лондона. Он часто перечитывал биографию Пушкина, а в зрелом возрасте увлекался чтением энциклопедий.

Грин не был избалован вниманием и потому очень ценил его. Даже самая обычная в человеческих отношениях ласка или дружеский поступок вызывали у него глубокое волнение.

Так случилось, например, когда жизнь впервые столкнула Грина с Максимом Горьким. Шел 1920 год. Грин был призван в Красную Армию и служил в караульном полку в городе Острове, под Псковом. Там он заболел сыпняком. Его привезли в Петроград и вместе с сотнями сыпнотифозных положили в Боткинские бараки. Грин болел тяжело. Он вышел из больницы почти инвалидом.

Без крова, полубольной и голодный, с тяжелыми головокружениями, он бродил целые дни по гранитному городу в поисках пищи и тепла. Было время очередей, пайков, коптилок, черствых корок хлеба и обледенелых квартир. Мысль о смерти становилась все назойливее и крепче.

«В это время,— пишет в своих неопубликованных воспоминаниях жена писателя,— спасителем Грина явился Максим Горький. Он узнал о тяжелом положении Грина и сделал для него все. По просьбе Горького, Грину дали редкий в те времена академический паек и комнату на Мойке, в «Доме искусств»,— теплую, светлую, с постелью и со столом. Замученному Грину особенно драгоценным казался этот стол — за ним можно было писать. Кроме того, Горький дал Грину работу.

Из самого глубокого отчаяния и ожидания смерти Грин был возвращен к жизни рукою Горького. Часто по ночам, вспоминая свою тяжелую жизнь и помощь Горького, еще не оправившийся от болезни Грин плакал от благодарности».

В 1924 году Грин переехал в Феодосию. Ему хотелось жить в

тишине, ближе к любимому морю. В этом поступке Грина отразился верный инстинкт писателя: приморская жизнь была той реальной питательной средой, которая давала ему возможность выдумывать свои рассказы. В Феодосии Грин прожил до 1930 года. Там он много писал. Писал он преимущественно зимой, по утрам. Иногда часами он сидел в кресле, курил и думал, и в это время его нельзя было трогать.

Осенью 1930 года Грин переехал из Феодосии в Старый Крым — город цветов, тишины и развалин. Здесь он и умер в одиночестве от мучительной болезни — рака желудка и легких.

Грин умирал так же тяжело, как и жил. Он попросил поставить его кровать к окну. За окном синели далекие крымские горы и небо сверкало, как отблеск любимого и навсегда потерянного моря.

Через два года после смерти Грина мне случилось побывать в Старом Крыму, в доме, где умер Грин, и на его могиле.

Вокруг маленького белого дома в густой и свежей траве цвели полевые цветы. Листья ореха, вялые от зноя, пахли лекарственно и терпко. В комнатах с суровой, простой обстановкой стояла глубокая тишина и лежал на меловой стене резкий луч солнца. Он падал на единственную гравюру на стене — портрет Эдгара По.

Грин умер, оставив нам решать вопрос, нужны ли нашему времени такие неистовые мечтатели, каким был он.

Да, нам нужны мечтатели. Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живем в этом будущем и сами становимся иными.

Значение каждого писателя определяется тем, как он действует на нас, какие чувства, мысли и поступки вызывают его книги, обогащают ли они нас знаниями или прочитываются как забавный набор слов.

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей.

Эти цельные, привлекательные люди окружены свежим, благоухающим воздухом грииовской природы — совершенно реальной, берущей за сердце своим очарованием. Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным только человеку, нищему духом. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого же глотка соленого и теплого воздуха морских побережий, сразу почувствует подлинность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских стран.

Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение — источник высоких и человечных страстей. Она не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом ее ценность, и в этом ценность невыразимого подчас словами, но ясного и могучего обаяния рассказов Грина.

К. Паустовский

Грин А. С. (Гриневский).
Г85 Алые паруса. Бегущая по волнам. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1980.— 256 с. с ил.
ИСБН

Переиздание известных произведений русского советского писателя приурочено к 100-летию со дня его рождения.

Г $\frac{70803-088}{М158(03)-80}$ Р2

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 712

Александр Степанович Грин

АЛЫЕ ПАРУСА. БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

Редактор Н. И. Трубникова
Художник В. С. Солдатов
Технический редактор Н. Н. Заузолкова
Корректоры Т. Г. Калугина, Е. В. Иванова

Сдано в набор 26.06.79. Подписано в печать 23.01.80. Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$. Типографская № 2. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 13,4. Уч.-изд. л. 13,9. Доп. тираж 90 000. Заказ № 597. Цена 55 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, просп. Ленина, 49.




60 коп.

